

Стефан Цвейг

Шахматная новелла

На большом океанском пароходе, отплывавшем в полночь из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес, царила, как всегда в последние минуты отправления, деловитая суета.

Через толпу во всех направлениях проталкивались провожающие; рассыльные телеграфа в лихо сдвинутых набок каскетках выкрикивали фамилии пассажиров; проносили багаж и цветы; по лестницам бегали любопытные дети, а на верхней палубе, не умолкая, играл духовой оркестр... Я стоял со своим приятелем на палубе вдаль от этой суеты. Вдруг совсем близко от нас два или три раза ярко вспыхнул магний: должно быть, среди пассажиров была какая-то знаменитость и для взятого в последний миг интервью понадобился портрет. Мой друг, взглянув в ту сторону, усмехнулся:

– С вами на пароходе едет чудо природы – Чентович.

Увидев по моему лицу, что это имя ничего мне не говорит, он пояснил:

– Мирко Чентович – чемпион мира по шахматам. Он только что разгромил всех шахматистов Америки и сейчас едет пожинать лавры в Аргентину.

Тут я вспомнил не только имя молодого чемпиона мира, но и кое-какие подробности его молниеносной карьеры. Мой друг, следивший за мировой прессой более внимательно, чем я, пополнил мои сведения, рассказав по этому поводу несколько анекдотов.

Около года тому назад Чентовичу удалось сразу стать в ряды таких шахматных светил, как Алехин, Капабланка, Тартаковер, Ласкер, Боголюбов. С момента появления в Нью-Йорке на турнире 1922 года семилетнего вундеркинда Решевского великолепная плеяда шахматистов не знала ни одного новичка, который вторгся бы в их среду с таким шумом и вызвал бы к себе столь острый интерес. Умственные способности Чентовича отнюдь не предвещали ему столь блистательную карьеру. Вскоре обнаружилась тайна: чемпион мира ни на одном языке не мог написать без ошибок даже нескольких слов, и, как саркастически заметил один из его желчных соперников, «невежество его было всеобъемлющим».

Крошечное суденышко, принадлежавшее его отцу – нищему югославскому лодочнику, – было потоплено однажды ночью дунайским грузовым пароходом. Сердобольный пастор из их глухой деревушки взял на попечение осиротевшего мальчишку, которому было в то время двенадцать лет. Добрый человек выбивался из сил, стараясь вдолбить в мозги туповатого, косноязычного, с низким лбом мальчишки не дававшуюся ему школьную премудрость.

Но все старания пастора оказались тщетными. В сотый раз бессмысленно всматривался Мирко в буквы, но не мог их запомнить. Его неповоротливый мозг не схватывал простейших вещей. В четырнадцать лет он все еще считал по пальцам, и ему стоило великого труда прочитать небольшой отрывок из книги или газеты. Однако нельзя сказать, чтобы Мирко был нерадив или непослушен. Он исполнял все, что ему приказывали: таскал воду, колол дрова, работал в поле, убирал кухню. На него можно было положиться; любое поручение он в конце концов выполнял, хотя медлительность его выводила из терпения. Но больше всего огорчало доброго пастора в упрямом подростке его безразличие ко всему на свете. Он никогда ничего не делал, не получив приказа, никогда не играл с другими подростками и никогда не искал себе какого-нибудь дела, пока ему не говорили, что надо сделать. Закончив домашнюю работу, Мирко усаживался в комнате, да так и сидел, устремив вдаль бессмысленный, как у пасущейся овцы, взгляд, не проявляя ни малейшего интереса к тому, что творилось вокруг. По вечерам, когда пастор, посасывая длинную деревенскую трубку, играл три неизменные партии в шахматы с жандармским вахмистром, светловолосый недоросль молча пристраивался возле игроков и, опустив тяжелые веки, с сонным и безразличным видом смотрел на расчерченную доску.

Однажды зимним вечером, когда два приятеля уже углубились в свою обычную игру, за окном послышался звон бубенцов. К дому быстро приближались сани. В комнату вбежал крестьянин в

заснеженной шапке и стал умолять пастора как можно скорее поехать к его умирающей матери, чтобы успеть дать ей последнее напутствие. Священник тут же отправился с ним. Вахмистр, недопивший своей кружки пива, раскурил на прощание трубку и уже собрался было натянуть высокие меховые сапоги, как вдруг заметил, что Мирко, не отрываясь, смотрит на шахматную доску с неоконченной партией.

– Может быть, хочешь закончить партию? – шутливо спросил его вахмистр, совершенно убежденный, что придурковатый парень не знает даже, как передвигаются по доске фигуры. Мальчик неуверенно взглянул на него, но утвердительно кивнул головой и сел на место пастора. На четырнадцатом ходу вахмистр был побежден и должен был признаться, что его поражение вовсе не было результатом какого-либо случайного зевка. Вторая партия закончилась так же.

– Валаамова ослица! – вскричал, вернувшись, пораженный пастор и объяснил вахмистру, не слишком хорошо знакомому с Библией, что две тысячи лет тому назад произошло подобное чудо, когда бессловесное до тех пор животное заговорило, и к тому же очень мудро. Несмотря на поздний час, добрый пастор не мог удержаться от искушения сразиться со своим полуграмотным воспитанником. Мирко с такой же легкостью обыграл и его. Играл он медленно, упрямо, ни разу не подняв от доски широколобой головы, но в игре его была непоколебимая уверенность. В последующие дни ни пастор, ни вахмистр не смогли одержать над ним ни одной победы.

Священник, лучше других знавший о безнадежной умственной отсталости своего воспитанника, задался вопросом: сможет ли этот однобокий, необычайный талант выдержать более серьезное испытание. С помощью сельского парикмахера Мирко привели в более приличный вид, и пастор отвез его в санях в соседний городок, где в кафе на главной площади собирались местные любители шахмат, игроки, как он убедился на горьком опыте, гораздо более искусные, чем он.

Появление пастора в сопровождении русого, краснощекого подростка вызвало всеобщий интерес. Пока его не позвали к шахматному столику, Мирко стоял поодаль, уставившись в пол, так и не сняв нагольного тулупа и высоких пастушьих сапог. Он проиграл первую партию, потому что добряк пастор никогда не применял сицилианскую защиту. Следующая партия с лучшим шахматистом города закончилась вничью. Однако третью, четвертую и все последующие партии Мирко выиграл одну за другой.

Провинциальные городки Югославии не часто бывают ареной волнующих событий. Поэтому первое выступление деревенского чемпиона произвело в кругу достойных граждан форменную сенсацию. Было единодушно решено, что вундеркинд должен остаться в городе до утра, когда будет созвано специальное собрание шахматного клуба; в особенности же для того, чтобы с ним смог сыграть одержимый страстью к шахматам владелец близлежащего замка старый граф Зимчиц. В душе священника боролись два чувства – гордость за своего питомца и чувство долга, призывавшее его обратно в село, к воскресной службе. Чувство долга восторжествовало, Однако пастор согласился оставить Мирко в городе для дальнейших испытаний. Шахматисты поместили молодого Чентовича в гостиницу, где он впервые в жизни увидел современную уборную.

В воскресенье после обеда шахматная комната заполнилась до отказа. В течение четырех часов Мирко неподвижно сидел перед шахматной доской, не произнося ни слова, не поднимая глаз, и разбивал одного противника за другим. Наконец ему предложили сеанс одновременной игры. Понадобилось некоторое время, чтобы растолковать Мирко, что он должен будет играть сразу против нескольких противников. Но как только он уяснил себе, чего от него хотят, он невозмутимо принялся за дело и стал ходить от стола к столу, медленно ступая тяжелыми, несмазанными сапогами. В конце концов он выиграл семь партий из восьми.

После этого начались серьезные совещания. Строго говоря, новый чемпион не являлся уроженцем городка, тем не менее местный патриотизм был задет за живое. Наконец-то у

крошечного, вряд ли даже отмеченного на карте городишка появился шанс назваться родиной знаменитости.

Импрессарио по имени Коллер, поставлявший шансонеток и балерин местному офицерскому казино, заявил, что берется устроить юноше уроки у своего знакомого в Вене – знатока шахматной игры – и будет содержать молодого Мирко в течение года с тем, чтобы расходы были ему впоследствии возмещены. Обязательство подписал граф Зимчиц, – за все шестьдесят лет, что он ежедневно играл в шахматы, ему ни разу не доводилось сразиться с таким замечательным противником. С этого дня началась поразительная карьера сына дунайского лодочника.

Мирко понадобилось всего шесть месяцев, чтобы постичь все секреты шахматной техники; правда, одним он не владел – это впоследствии было замечено любителями шахматной игры и вызывало с их стороны насмешки. Ни одной сыгранной партии Чентович не мог запомнить, – выражаясь языком профессионалов, не мог играть вслепую. Он был абсолютно не способен воссоздать в своем воображении шахматную доску. Ему было совершенно необходимо иметь перед глазами настоящую, в шестьдесят четыре черных и белых квадрата доску и тридцать две фигуры. Даже став всемирной знаменитостью, он неизменно носил с собой карманные шахматы, чтобы иметь возможность в любой момент наглядно воспроизвести нужную ему классическую партию и решить заинтересовавшую его задачу.

Хотя сам по себе этот дефект и не представлял особой важности, он тем не менее указывал на недостаток воображения и вызывал оживленные толки в кругу любителей шахмат – такие толки возникают, например, в музыкальных кругах, когда выясняется, что выдающийся виртуоз или дирижер не может играть или дирижировать на память, без нот. Впрочем, этот недостаток не помешал замечательным успехам Мирко. В семнадцать лет он уже имел с десяток различных призов, в восемнадцать – стал чемпионом Венгрии и, наконец, в двадцать – чемпионом мира. Лучшие игроки, несомненно превосходившие его умом, силой воображения и смелостью, не смогли противостоять его железной, холодной логике, как не мог Наполеон противостоять осторожному Кутузову и Ганнибал – Фабию Кунктатору, у которого, по свидетельству Ливия, черты апатии и слабоумия проявлялись уже в раннем детстве. Таким образом, оказалось, что в блистательном обществе выдающихся шахматистов, среди которых были видные представители самых разнообразных отраслей интеллектуального труда – философы, математики, люди, обладающие художественным чутьем, изобретательскими способностями и нередко творческим талантом, – затесался совершенный чужак – хмурый, молчаливый, неразвитый деревенский парень. Самые ловкие журналисты не могли вытянуть из него ни единого слова, из которого можно было бы сострять сенсацию. Газеты были лишены такой возможности, но это восполнялось обилием циркулировавших о нем анекдотов: едва поднявшись из-за шахматного стола, где он не знал себе равных, Чентович неизбежно становился забавной, почти комической фигурой. Несмотря на безукоризненный костюм, модный галстук и булавку с чрезмерно большой жемчужиной и тщательно наманикюренные ногти, он оставался тем, кем был прежде, – ограниченным, неотесанным парнем, еще недавно подметавшим кухню пастора. Используя свой талант и славу, он старался заработать как можно больше денег, проявляя при этом мелочную и нередко грубую жадность. Делал он это с беззащитной откровенностью, возбуждающей раздражение и непрерывные насмешки его коллег. Путешествуя из города в город, он останавливался в самых дешевых отелях, соглашался играть за любой шахматный клуб, готовый уплатить ему гонорар, продал фабриканту мыла право помещать свой портрет на рекламных объявлениях и, не обращая внимания на презрительные насмешки своих соперников, которым было известно, что он с трудом может написать связно два слова, выпустил под своим именем книгу «Философия шахматной игры», написанную бедным галицийским студентом по заказу какого-то предприимчивого издателя. Как обычно случается с людьми такого склада, Чентович был начисто лишен чувства юмора и, сделавшись чемпионом, стал считать себя самым важным человеком в мире. Сознание того, что он сумел одержать победу над всеми этими умными и культурными людьми, блестящими

ораторами и писателями, и к тому же зарабатывает больше их, обратило его прежнюю неуверенность в холодную надменность.

– Разумеется, как и следовало ожидать, легко добытая слава вскружила такую пустую голову, – заключил мой друг и привел несколько классических примеров того, как Чентович с чисто детским тщеславием стремился занять положение в обществе. – Почему бы парню в двадцать один год не стать невероятно тщеславным, если, двигая на доске фигурки, он может за одну неделю заработать больше, чем вся его деревня за целый год на рубке леса в ужасных условиях. И потом, весьма легко считать себя великим человеком, если ваш мозг не отягощен ни малейшим подозрением, что на свете жили когда-то Рембрандт, Бетховен, Данте и Наполеон. В его ограниченном уме гнездится только одна мысль: уже в течение многих месяцев он не проиграл ни одной партии. И так как он не имеет ни малейшего представления о том, что в мире существуют другие ценности, кроме шахмат и денег, у него есть все основания быть в восторге от собственной персоны.

Рассказ приятеля, разумеется, возбудил мое любопытство. Меня всю жизнь интересовали различные виды мономанов – людей, которыми владеет одна-единственная идея, потому что, чем теснее рамки, которыми ограничивает себя человек, тем больше он в известном смысле приближается к бесконечному. Как раз такие, по видимости равнодушные ко всему на свете, люди упорно, как муравьи, строят из какого-то особого материала свой собственный, ни на что не похожий мирок, представляющий для них уменьшенное подобие вселенной. Поэтому я не скрыл от приятеля своего намерения – постараться за время двенадцатидневного путешествия до Рио поближе познакомиться с этой личностью, наделенной крайне односторонними способностями.

– Вряд ли это вам удастся, – предупредил меня мой собеседник. – Насколько я знаю, еще никому не удалось выудить из Чентовича хоть какую-либо малость, годную для психологических суждений. При всей своей невероятной ограниченности этот хитрый крестьянин достаточно умен, чтобы скрывать свои слабые места. Способ у него простой: за исключением земляков, и притом людей своего круга, с которыми он встречается в дешевеньких гостиницах, Чентович избегает вступать с кем-либо в разговоры. Почувствовав, что перед ним человек культурный, он сразу же, как улитка, прячется в свою раковину; поэтому никто не может похвастаться, что слышал от него какую-нибудь глупость и сумел оценить всю бездну его невежества.

Должно быть, мой приятель был прав. Завязать знакомство с Чентовичем в течение первых дней нашего путешествия оказалось невозможным – разве что проявить известное нахальство, – но я не сторонник таких приемов. Иногда он появлялся на верхней палубе и гулял там, заложив руки за спину, погруженный в сосредоточенное раздумье, совсем как Наполеон на известном портрете. Но, гуляя по палубе, он всегда так торопился, что мне, чтобы добиться своей цели, пришлось бы бегать за ним рысью. Он никогда не появлялся в гостиных, в баре или в курительном салоне. Стюард, у которого я доверительно навел справки, сказал мне, что большую часть дня он проводит у себя в каюте за большой шахматной доской, разбирая сыгранные партии или решая задачи.

Через три дня меня стало злить, что оборонительная тактика Чентовича оказалась сильнее моего желания как-нибудь до него добраться. До сих пор мне не приходилось встречаться с выдающимися шахматистами. Чем больше я старался понять этот тип людей, тем непостижимей казалась мне эта работа человеческого мозга, полностью сосредоточенная на небольшом пространстве, разделенном на шестьдесят четыре черных и белых квадрата. По личному опыту мне было знакомо таинственное очарование «королевской игры», единственной из игр, изобретенных человеком, которая не зависит от прихоти случая и венчает лаврами только разум, или, вернее, особенную форму умственной одаренности. Но разве узкое определение «игра» не оскорбительно для шахмат? Однако это и не наука, и не искусство, вернее, нечто среднее, витающее между двумя этими понятиями, подобно тому как витает между небом и землей гроб Магомета. В этой игре сочетаются самые противоречивые понятия:

она и древняя, и вечно новая; механическая в своей основе, но приносящая победу только тому, кто обладает фантазией; ограниченная тесным геометрическим пространством – и в то же время безграничная в своих комбинациях; непрерывно развивающаяся – и совершенно бесплодная; мысль без вывода, математика без результатов, искусство без произведений, архитектура без камня. И, однако, эта игра выдержала испытание временем лучше, чем все книги и творения людей, эта единственная игра, которая принадлежит всем народам и всем эпохам, и никому не известно имя божества, принесшего ее на землю, чтобы рассеивать скуку, изощрять ум, ободрять душу. Где начало ее и где конец? Ее простые правила может выучить любой ребенок, в ней пробует свои силы каждый любитель, и в то же время в ее неизменно тесных квадратах рождаются особенные, ни с кем не сравнимые мастера – люди, одаренные исключительно способностями шахматистов. Это особые гении, которым полет фантазии, настойчивость и мастерство точности свойственны не меньше, чем математикам, поэтам и композиторам, только в ином сочетании и с иной направленностью. В дни увлечения физиогномическими исследованиями какой-нибудь Галль¹ должен был бы в первую очередь исследовать головной мозг одного из гениальных шахматистов, чтобы установить, нет ли в сером веществе его мозга особой извилины, нет ли там какого-то особого шахматного нерва или шахматной шишки. И какой интерес пробудил бы у физиогномиста такой индивидуум, как Чентович, у которого эта особая гениальность угнездилась в мозгу, совершенно нетронутым и вялом, подобно тому как в глыбе горной породы прячется единственная золотая жилка. В принципе я понимал, что такая единственная в своем роде, гениальная игра должна порождать и достойных служителей, и все-таки мне было всегда трудно, почти невозможно представить себе жизнь человека, обладающего деятельным умом и в то же время ограничившего свой мир небольшим бело-черным пространством и способного находить радость бытия в передвижении туда и сюда тридцати двух фигур. Я не мог понять психологии человека, который верит в то, что ход конем, а не пешкой может принести ему славу и обеспечить местечко среди бессмертных, выражающееся в коротеньком примечании к руководству по шахматной игре, разумного, мыслящего человека, который, не будучи сумасшедшим, в течение десяти, двадцати, тридцати, сорока лет снова и снова посвящает всю силу своего ума нелепому занятию – во что бы то ни стало загнать в угол деревянной доски деревянного короля. И вот наконец, впервые в жизни, совсем близко от меня, на одном корабле, всего через шесть кают, оказался один из таких феноменов – исключительный гений или, быть может, загадочный глупец, а я, несчастный человек, у которого страсть разгадывать психологические загадки переросла в манию, не мог найти способа познакомиться с ним. Я изобретал всевозможные хитрые маневры: то собирался сыграть на его тщеславии, попросив интервью для влиятельной газеты, то рассчитывал пробудить в нем жадность, предложив выгодное турне по Шотландии. Наконец мне пришел на ум прием охотников, которые подманивают глухарей, имитируя их любовный зов. Может быть, удастся привлечь к себе внимание шахматного маэстро, выдав себя за шахматного игрока?

Я никогда не играл в шахматы серьезно, для меня это – развлечение, не больше. Если я и провожу иногда часок за шахматной доской, то вовсе не для того, чтобы утомлять свой мозг, а, напротив, для того, чтобы рассеяться после напряженной умственной работы. Я в полном смысле этого слова «играю» в шахматы, в то время как настоящие шахматисты священнодействуют, если позволительно употребить такое выражение. Шахматы, так же, как любовь, требуют партнера, а я еще не сумел выяснить, есть ли на пароходе любители этой игры. Чтобы выманить их из нор, я расставил в курительном салоне примитивную ловушку. В качестве приманки за шахматный столик уселась вместе со мной и моя жена, которая играет еще хуже меня. И, конечно, едва мы сделали несколько ходов, как возле нас уже остановился

¹ Галль Франц Иосиф (1758–1828), немецкий врач, создатель френологии – лженауки, якобы позволявшей определять способности и наклонности человека по форме и выпуклости его черепа.

один из пассажиров, затем еще один попросил разрешения посмотреть на игру, а скоро отыскался и желанный партнер, предложивший мне сыграть с ним партию.

Это был некто МакКоннор, шотландец, горный инженер. Я узнал, что он бурил нефтяные скважины в Калифорнии и сколотил там крупное состояние. МакКоннор был цветущим здоровяком, обладавшим квадратными челюстями и крепкими зубами. Яркий цвет лица, без сомнения, указывал на неумеренное потребление виски, а широченные плечи этого атлета довольно неприятно действовали на вас во время игры. Ибо МакКоннор принадлежал к той категории самоуверенных, преуспевающих людей, которые любое поражение, даже в самом безобидном состязании, воспринимают не иначе, как удар по своему самолюбию. Этого громадного человека, всем обязанного только самому себе, привыкшего напролом пробиваться к цели, настолько переполняло чувство собственного превосходства, что любое препятствие он считал непозволительным вызовом себе, если не оскорблением. Проиграв первые две партии, он помрачнел и начал обстоятельно, диктаторским тоном объяснять, что этого бы не произошло, если б не случайная его невнимательность. Третий проигрыш он отнес за счет шума в соседней гостиной. Ни одной проигранной партии он не желал оставлять без реванша. Сначала его обидчивость забавляла меня, но потом я смирился, сообразив, что это наверняка поможет мне добиться цели – подманить к столу чемпиона мира.

На третий день мой замысел осуществился, хотя и не полностью. Может быть, Чентович увидел нас за шахматами через иллюминатор, выходящий на верхнюю палубу, может быть, он просто решил почтить своим присутствием курительный салон, во всяком случае, как только чемпион заметил, что в сферу его искусства осмелились вторгнуться непосвященные, он невольно подошел поближе и, держась на приличном расстоянии, бросил испытующий взгляд на доску. Был ход МакКоннора. Одного его хода оказалось достаточно, чтобы Чентович сразу понял, как мало интереса представляют для него наши любительские потуги. С небрежным жестом, каким обычно отмахиваются от предложенного в книжном магазине плохого детективного романа, даже не перелистав его, чемпион отвернулся и вышел из салона.

«Сразу увидел, что игра не стоит свеч», – подумал я. Меня уязвил его высокомерный, холодный взгляд. Захотелось выместить на ком-нибудь свое раздражение, и я обратился к МакКоннору:

– Кажется, ваш ход не произвел большого впечатления на чемпиона?

– Какого чемпиона?

Я объяснил ему, что человек, который заходил в салон и столь презрительно отнесся к нашей игре, был Чентович, чемпион мира по шахматам. Я добавил, что не следует расстраиваться из-за его надменности: для бедняков гордость – непозволительная роскошь. К моему удивлению, эти случайно сказанные слова оказали на МакКоннора совершенно неожиданное действие. Он сразу невероятно разволновался и, полный честолюбивых замыслов, забыл о нашей игре. Он и не подозревал, что Чентович находится в числе пассажиров, – чемпион обязательно должен сыграть с ним. Ему только один раз удалось сыграть с чемпионом, и то когда шел сеанс одновременной игры на сорока досках, но даже это было очень увлекательно, он чуть-чуть не выиграл. Знаком ли я с чемпионом? Нет, не знаком. Не могу ли я попросить его сыграть с нами? Я отказался, сославшись на то, что Чентович, насколько мне известно, избегает новых знакомств. Кроме того, какой интерес может представлять для чемпиона мира игра с нами, третьеразрядными игроками?

Замечание о третьеразрядных игроках в адрес такого самолюбивого человека, как МакКоннор, было, пожалуй, излишним. Он сердито откинулся в кресле и запальчиво заявил, что просто не представляет себе, чтобы Чентович мог отклонить вызов джентльмена. Об этом позаботится он сам. По его просьбе я в нескольких словах обрисовал ему своеобразный характер чемпиона, и МакКоннор, бросив на произвол судьбы неоконченную партию, кинулся разыскивать Чентовича на верхней палубе. Тут я снова почувствовал, что удержать человека с такими мощными плечами, если он вбил себе что-либо в голову, дело совершенно безнадежное. Я напряженно ждал. Прошло десять минут, и МакКоннор вернулся, как мне показалось, не в очень хорошем расположении духа...

– Ну как? – спросил я.

– Вы были правы, – ответил с досадой МакКоннор, – не очень-то приятный господин. Я поздоровался и назвал себя, но он даже руки не протянул. Я попытался объяснить ему, что все мы, пассажиры, будем горды и счастливы, если он согласится удостоить нас сеансом одновременной игры. Но он был со мной страшно официален и ответил, что, к сожалению, контракт с импресарио, организовавшим его турне, обязывает его играть во время поездки только за вознаграждение и что минимальный его гонорар – двести пятьдесят долларов за партию.

Я рассмеялся.

– Вот уж никогда не думал, что передвигать фигуры с белых квадратов на черные – такое доходное дело, Надеюсь, вы столь же любезно откланялись.

Однако МакКоннор остался совершенно серьезен.

– Матч состоится завтра в три часа дня здесь, в курительном салоне. Надеюсь, ему не так-то легко удастся разбить нас.

– Как? Вы дали ему двести пятьдесят долларов?! – вскричал я в совершенном изумлении.

– Почему же нет? *C'est son metie*². Если бы у меня разболелся зуб, а на борту парохода оказался дантист, ведь не стал бы он рвать его даром. Его право – заломить, сколько он хочет. Так везде. В любой профессии лучшие специалисты всегда бывают прекрасными коммерсантами. Что же до меня, то я за чистые сделки, Я с гораздо большим удовольствием заплачу вашему Чентовичу звонкой монетой, чем стану просить его об одолжении да еще буду чувствовать себя обязанным рассыпаться потом в благодарностях. Мне случалось проигрывать за вечер в нашем клубе и побольше двухсот пятидесяти долларов, но ведь мне не доводилось играть с чемпионом мира. «Третьеразрядному» игроку не стыдно проиграть Чентовичу.

Меня забавляло, как сильно невинное выражение «третьеразрядные игроки» ранило самолюбие МакКоннора. Поскольку, однако, дорогое развлечение, предоставившее мне возможность познакомиться с интересовавшим меня субъектом, оплачивалось МакКоннором, я предпочел промолчать.

Мы поспешили известить о предстоящем событии еще нескольких человек, обнаруживших пристрастие к шахматам, и потребовали оставить за ними для матча не только наш стол, но и все соседние, чтобы избежать возможных помех со стороны остальных пассажиров.

На другой день точно в назначенный час наша компания собралась в полном составе.

Центральное место, напротив чемпиона, было, разумеется, предоставлено МакКоннору. Он волновался, курил одну за другой крепкие сигары и нервно посматривал на часы.

Чемпион заставил себя ждать добрых десять минут (помня рассказы своего приятеля, я предвидел что-нибудь в этом роде), и это еще больше подчеркнуло торжественность его появления. Он подошел к столу с невозмутимым и спокойным видом, не поздоровался. По-видимому, его неучтивость должна была означать: «Вам известно, кто я, а мне совсем не интересно знать, кто вы», – и сразу же сухим, деловым тоном начал излагать свои условия. Так как на пароходе не было достаточного количества шахматных досок для проведения сеанса одновременной игры, он предлагает, чтобы все мы играли против него сообща. Сделав ход, он будет отходить в другой конец комнаты, чтобы не мешать нам советоваться. Мы же, сделав ответный ход, должны будем, за неимением колокольчика, стучать по стакану чайной ложечкой. Если не будет возражений, он предлагает дать на обдумывание каждого хода максимум десять минут. Мы, как робкие ученики, приняли все его условия. Чентовичу достались черные; он стоя сделал первый ответный ход, сразу повернулся, отошел в условленное место и там, лениво развалившись в кресле, принялся перелистывать иллюстрированный журнал.

² Это его профессия (*фр.*).

Вряд ли стоит описывать эту партию. Кончилась она, как и следовало ожидать, полным нашим поражением, и к тому же на двадцать четвертом ходу. Не было ничего удивительного в том, что чемпион мира, играя, что называется, левой рукой, наголову разбил с полдюжины посредственных и совсем слабых игроков; но всем нам было противно надменное поведение Чентовича, который ясно давал почувствовать, что разделался с нами без малейшего труда. Каждый раз, подойдя к столу, он бросал на доску беглый и нарочито небрежный взгляд, а на нас и вовсе не обращал внимания, словно мы тоже были деревянными фигурами. Так, не потрудившись даже взглянуть на нее, кидают кость бродячей собаке. Мне казалось, что, обладай он хоть какой-то чуткостью и тактом, ему бы следовало указать нам на наши ошибки или подбодрить нас дружеским словом. Даже закончив игру, этот шахматный робот не произнес ни звука. Сказав «мат», он остался неподвижно стоять у стола, очевидно, желая узнать, не хотим ли мы сыграть еще одну партию. Я уже поднялся было с места и, как всегда, пасуя перед бесцеремонной грубостью, приготовился дать понять жестом, что лично я с удовольствием буду считать наше знакомство законченным, едва только окончатся финансовые расчеты. Но, к моей досаде, в это самое мгновение МакКоннор, сидевший рядом со мной, хрипло произнес: «Реванш».

Меня испугал вызов, прозвучавший в голосе МакКоннора. Он скорее напоминал боксера, готового нанести решающий удар, нежели корректного джентльмена. Может быть, его возмутило оскорбительное поведение Чентовича или причиной тому было его собственное уязвленное самолюбие, но, как бы то ни было, даже внешне МакКоннор совершенно изменился. Он покраснел до корней волос, ноздри раздулись, на лбу выступили капли пота, от закушенной губы к воинственно выставленному вперед подбородку пролегли резкие складки. Я с беспокойством заметил в его глазах огонек неукротимой страсти, которая охватывает обычно игроков в рулетку, когда нужный им цвет не выпадает шесть-семь раз подряд после непрерывно удваиваемых ставок. Я уже знал, что этот одержимый готов поставить против Чентовича все свое состояние и играть, играть, играть, по простым или удвоенным ставкам, пока не выиграет хотя бы одну партию. Если бы Чентович взялся за это дело, МакКоннор мог бы оказаться для него сущим золотым дном, и прежде чем на горизонте возник бы Буэнос-Айрес, в кармане чемпиона очутилось бы несколько тысяч долларов.

Чентович остался недвижим.

– Извольте, – вежливо проговорил он. – Теперь, господа, вы будете играть черными.

Вторая партия мало чем отличалась от первой, только наша компания несколько увеличилась за счет подошедших зрителей и игра стала оживленней. МакКоннор пристально смотрел на доску, словно хотел загипнотизировать шахматные фигуры и подчинить их своей воле. Я чувствовал, что он с восторгом пожертвовал бы тысячей долларов за удовольствие крикнуть «мат» в лицо нашему невозмутимому противнику. И странно, его угрюмое волнение непостижимым образом передалось всем нам. Теперь каждый ход обсуждался с гораздо большей страстностью, и мы спорили до последней секунды, прежде чем соглашались дать сигнал Чентовичу. Дойдя до семнадцатого хода, мы с изумлением обнаружили, что у нас создалась позиция, казавшаяся поразительно выгодной: мы сумели продвинуть пешку «с» на предпоследнюю линию, и все, что нам нужно было теперь сделать, – это продвинуть ее вперед на «с1». Мы получали второго ферзя. Однако мы не были вполне спокойны: нам не верилось, что у нас действительно появился такой очевидный шанс на выигрыш. Все мы подозревали, что преимущество, которое мы, казалось, вырвали, было не чем иным, как ловушкой, расставленной Чентовичем, предвидевшим развитие игры на много ходов вперед. И все же, как мы ни обсуждали и ни рассматривали положение со всех сторон, мы не могли разгадать, в чем заключается подвох. Наконец, когда десять минут уже почти истекли, мы решили рискнуть сделать этот ход. МакКоннор уже взялся за пешку, чтобы передвинуть ее на последний квадрат, как вдруг чья-то рука остановила его и тихий, но настойчивый голос произнес:

– Ради бога, не надо.

Мы все невольно обернулись. За нами стоял человек лет сорока пяти, – узкое, с резкими чертами лицо его уже раньше, на прогулках, привлекло мое внимание своей необычной, мертвенной бледностью. Видимо, он только что присоединился к нашей компании, и, погруженные в обсуждение очередного хода, мы не заметили его появления. Увидев, что мы смотрим на него, он торопливо продолжал:

– Если вы сделаете ферзя, он немедленно возьмет его слоном, которого вы снимете конем. Он же в это время продвинет свою проходную пешку на «d7» и будет угрожать вашей ладье. Если даже вы объявите шах конем, все равно партия для вас будет потеряна – через девять или десять ходов вы получите мат. Почти ту же комбинацию применил в 1922 году Алехин, играя против Боголюбова на шахматном турнире в Пестьене.

Пораженный МакКоннор выпустил из рук пешку и, как и все мы, с немим удивлением уставился на ангела-хранителя, свалившегося к нам с неба. Ведь предугадать мат за девять ходов мог только игрок высшего класса, участник международных состязаний, – может быть, он направлялся на тот же турнир, что и Чентович, и будет оспаривать мировое первенство? Как бы то ни было, его внезапное появление, его вмешательство в игру в самый критический момент показалось нам чем-то сверхъестественным.

Первым пришел в себя МакКоннор.

– Что же вы посоветуете? – прошептал он возбужденно.

– Пока что не продвигайте пешки вперед. Пока уклоняйтесь. Прежде всего выведите короля из опасной зоны – с «g8» на «h7». Тогда ваш противник, по всей вероятности, перенесет атаку на другой фланг. Но эту атаку вы можете парировать ходом ладьи «c8–c4». Это ему будет стоить потери двух темпов и одной пешки и, таким образом, всего преимущества. В таком случае у вас обоих окажутся проходные пешки, и если вы будете правильно защищаться, то сможете свести партию к ничьей. Это лучшее, что вы можете сделать.

Мы снова остолбенели. Точность и быстрота его расчетов ошеломили нас. Похоже было, что он читает ходы по книжке. Благодаря его вмешательству игра принимала неожиданный оборот. Возможность сыграть вничью с чемпионом мира – это было так заманчиво! Как сговорившись, мы все отодвинулись в сторону, чтобы не мешать ему смотреть на доску.

МакКоннор переспросил:

– Значит, короля с «g8» на «h7»?

– Конечно. Сейчас самое главное – уклониться.

МакКоннор повиновался, и мы постучали по стакану.

Чентович подошел своей обычной ленивой походкой и посмотрел, какой ход мы сделали.

Потом он передвинул пешку с «h2» на «h4» на королевском фланге, точно так, как предсказывал наш таинственный помощник.

А тот уже шептал взволнованно:

– Ладью вперед, ладью с «c8» на «c4», тогда ему придется сначала защитить пешку. Но это ему не поможет. Не обращая внимания на его проходную пешку, берите конем «c3–d5», и тогда равновесие восстановится. Атакуйте, вместо того чтобы защищаться.

Мы не понимали, о чем он говорит. Он с таким же успехом мог говорить с нами по-китайски.

МакКоннор, как зачарованный, не размышляя, делал то, что ему приказывали. Мы снова застучали по стакану, призывая Чентовича. И тут он, внимательно вглядываясь в доску, впервые помедлил, перед тем как пойти. Ход он сделал как раз тот, который предугадал незнакомец. Он уже повернулся, чтобы идти, но тут произошло нечто новое и непредвиденное: Чентович поднял глаза и оглядел наши ряды. Вне всякого сомнения, он хотел выяснить, кто же это из нас вдруг оказал ему такое энергичное сопротивление.

Наше волнение возрастало с каждой минутой. Раньше мы играли без серьезной надежды на выигрыш, но теперь мысль о том, что мы можем сломить холодную надменность Чентовича, воодушевляла всех. Не теряя ни минуты, наш новый друг указал следующий ход. Можно было приглашать Чентовича продолжать игру. Дрожащей рукой я ударил ложкой по стакану, и тут настал наш черед торжествовать: Чентович, до тех пор игравший стоя, помедлил и в конце

концов сел за стол. Опустился он на стул медленно и тяжело, но этого было вполне достаточно для того, чтобы мы наконец оказались игроками «одного уровня», пусть даже только в прямом смысле этого слова. Мы заставили его обращаться с нами, как с равными, по крайней мере внешне. Он сидел неподвижно, пристально глядя на доску и обдумывая ход; его тяжелые веки почти совсем прикрыли глаза. От напряженного раздумья рот его слегка приоткрылся, это придавало ему глуповатый вид. Чентович думал несколько минут, потом сделал ход и встал. И сразу же наш друг зашептал:

– Пат. Хорошо задумано. Но не идите на это. Форсируйте размен. Обязательно размен! После этого будет ничья, он ничего не сможет сделать.

МакКоннор повиновался. Последующие маневры обоих игроков (мы-то все уже давно превратились в простых статистов) состояли в непонятных для нас передвижениях фигур. Ходов через семь Чентович, подумав немного, поднял на нас глаза и сказал: «Ничья».

На мгновение воцарилась полная тишина. Вдруг сразу стали слышны и шум моря, и радио в соседней гостиной, и каждый шаг гуляющих на верхней палубе, и тонкий свист ветра в оконных рамах. Мы не смели пошевелиться. Все произошло так внезапно, мы просто были напуганы: неизвестно откуда взявшийся человек заставил подчиниться своей воле чемпиона мира, и к тому же в наполовину проигранной партии. Только МакКоннор шумно перевел дыхание, откинулся назад, и с его губ сорвалось удовлетворенное «ага!». Я снова внимательно посмотрел на Чентовича. Мне еще раньше показалось, что к концу игры он побледнел. Но чемпион мира умел держать себя в руках. По-прежнему сохраняя равнодушный вид, он сгреб твердой рукой фигуры с доски и спросил:

– Желаете сыграть третью партию, господа?

Вопрос был задан спокойным, чисто деловым тоном, неудивительно было то, что чемпион, как бы совершенно не замечая МакКоннора, пристально смотрел в глаза нашему избавителю. Как лошадь по уверенной посадке узнает нового, опытного всадника, так и Чентович разгадал, кто, собственно, был его настоящим и единственным противником. Вслед за ним и мы невольно устали на незнакомца. Но не успел тот ответить, как, охваченный честолюбивым азартом, МакКоннор торжествующе воскликнул:

– Конечно, без всякого сомнения! Но только на этот раз играть будет этот господин. Он один против Чентовича.

И тут произошло нечто совсем непредвиденное. Незнакомец, который все еще с непонятным напряжением смотрел на пустую доску, вздрогнул, услышав это энергичное заявление. Видя, что все взгляды устремлены на него, он смутился.

– Ни в коем случае, господа, – сказал он, запинаясь, в явном замешательстве, – это невозможно... Вам придется обойтись без меня... Ведь прошло уже двадцать лет, нет, даже двадцать пять лет с тех пор, как я сидел за шахматной доской. Я только сейчас понял, как невежливо поступил, вмешавшись без разрешения в вашу игру. Прошу вас извинить меня за дерзость. Больше я не буду вам мешать.

И прежде чем мы успели прийти в себя от изумления, он повернулся и вышел из салона.

– Но это невозможно! – грохотал пылкий МакКоннор, барабаня кулаком по столу. – Совершенно исключено, чтобы он двадцать пять лет не играл в шахматы! Да ведь он предвидел каждую комбинацию, каждый встречный маневр по крайней мере за пять-шесть ходов вперед. Из пальца этого не высосешь. Это просто невероятно, не так ли?

С последним вопросом МакКоннор невольно обратился к Чентовичу, но чемпион не утратил ледяного спокойствия.

– Не могу ничего сказать на этот счет. Во всяком случае, в игре этого господина было что-то не совсем обычное и интересное; потому-то я намеренно дал ему возможность разыграть партию, как ему хотелось.

Он тут же лениво поднялся и деловито закончил:

– Может быть, этот господин или вы, господа, пожелаете завтра сыграть еще партию – с трех часов я буду в вашем распоряжении.

Мы не могли подавить легких улыбок. Каждый из нас прекрасно понимал, что отнюдь не великодушные заставило Чентовича уступить победу нашему неизвестному помощнику. Замечание его было не чем иным, как наивной попыткой скрыть свое поражение, и нам только еще больше захотелось стать свидетелями окончательного посрамления этого высокомерного гордеца. Всех нас, праздных путешественников, вдруг охватил дикий, честолюбивый азарт. Нас пленяла мысль, что здесь, на нашем пароходе, в открытом море, пальма первенства будет вырвана из рук чемпиона и телеграфные агентства разнесут весть об этом событии по всему миру. К этому нужно добавить, что нас заинтриговали таинственное появление нашего спасителя, его вмешательство в игру в самый критический момент, контраст между его болезненной застенчивостью и непоколебимой самоуверенностью профессионала. Кто же этот незнакомец? Может быть, на наших глазах случайно открылся миру доселе неизвестный шахматный гений? Или это знаменитый маэстро, по какой-либо причине не пожелавший открыть свое имя? Мы горячились, на все лады обсуждая каждую из этих возможностей. Самые немыслимые предположения уже не казались нам невероятными, когда мы вспоминали его непонятную робость, его неожиданное заявление, что он не играл уже много лет, и сопоставляли все это с очевидным мастерством его игры. В одном, однако, мы сходились все: надо сделать так, чтобы турнир продолжался. Мы решили приложить все усилия и уговорить незнакомца играть на другой день против Чентовича. МакКоннор брался оплатить расходы, а меня в качестве соотечественника – мы тем временем узнали у стюарда, что незнакомец был австрийцем, – уполномочили передать ему нашу общую просьбу.

Мне не понадобилось много времени, чтобы найти его. Он читал, растянувшись в шезлонге на верхней палубе. Я воспользовался этим, чтобы хорошенько рассмотреть его. Он лежал, откинувшись на подушку, и вид у него был очень утомленный. Меня поразило полное отсутствие красок в его сравнительно молодом, с резкими чертами лице. Виски у него были совершенно белые. Не знаю почему, но у меня создалось впечатление, что постарел он внезапно. Как только я подошел к нему, он вежливо встал и представился. Имя, которое он назвал, принадлежало семье, пользовавшейся большим уважением в старой Австрии. Я вспомнил, что один из членов этой семьи был близким другом Шуберта, другой – придворным врачом старого императора. Доктор Б. был потрясен, когда я повторил ему нашу просьбу сыграть с Чентовичем. Оказалось, что он и не подозревал, что играл, да еще с таким успехом, против прославленного чемпиона мира. Почему-то эта подробность произвела на него особенно сильное впечатление. Он снова и снова переспрашивал, уверен ли я, что его противником действительно был знаменитый обладатель международных призов. Скоро я понял, что это обстоятельство сильно облегчает мою миссию. Однако, чувствуя, что имею дело с очень деликатным и воспитанным человеком, я решил не упоминать, что в случае его поражения МакКоннор понесет материальный ущерб. Поколебавшись немного, доктор Б. согласился принять участие в матче, но просил предупредить моих приятелей, чтобы они не возлагали слишком больших надежд на его способности.

– Потому что, – добавил он со странной улыбкой, – я, право, не знаю, смогу ли играть по всем правилам. Уверяю вас, когда я упомянул, что не притрагивался к шахматам с гимназических времен, то есть больше двадцати лет, я сказал это не из ложной скромности. И даже в те времена я ничего не представлял собой как шахматист.

Это было сказано так просто, что я ни на минуту не усомнился в искренности его слов. Но все же я не мог не возразить ему, что меня поразила точность, с какой он ссылаясь на мельчайшие подробности партий, сыгранных разными чемпионами. По всей вероятности, он много времени посвятил изучению теории шахматной игры.

Доктор Б. снова улыбнулся своей непонятной улыбкой:

– Много времени? Видит бог, это правда. Шахматам я посвятил очень много времени. Но это произошло при особых, я бы сказал, исключительных обстоятельствах. Это довольно запутанная история и может сойти за иллюстрацию к повести о нашей прелестной эпохе. Может быть, вы запасетесь терпением на полчаса?..

Он указал на соседний шезлонг. Я с удовольствием принял приглашение. Поблизости никого не было. Доктор Б. снял очки, положил их рядом и начал:

– Вы любезно заметили, что моя фамилия вам, уроженцу Вены, знакома. Полагаю, однако, что вы вряд ли слышали о юридической конторе, которую возглавляли сначала мы с отцом, а потом я один. Мы не брались за дела, которые вызывали шум в газетах, и принципиально избегали новых клиентов. Собственно говоря, мы вообще не занимались обычной юридической практикой, а ограничивались тем, что давали юридические советы и управляли имуществом богатых монастырей, с которыми был близко связан мой отец, в прошлом депутат клерикальной партии. Кроме того – теперь, когда монархия уже стала достоянием истории, об этом можно говорить открыто, – нам было доверено и управление капиталами некоторых членов императорского дома.

Связи нашей семьи с двором и церковью (один мой дядя был лейб-медиком императора, а другой – аббатом в Зайтенштеттене) восходят еще к предыдущим поколениям; нам оставалось только сохранять и поддерживать эти связи. Доверие клиентов перешло к нам по наследству, и вместе с доверием перешли и несложные, спокойные обязанности. От нас требовались главным образом скромность и преданность – качества, которыми в полной мере обладал мой отец. Только благодаря его осмотрительности наши клиенты сохранили значительные ценности в годы инфляции и после переворота. Потом, когда власть в Германии захватил Гитлер и началась конфискация имущества церковей и монастырей, из-за границы были предприняты некоторые шаги для спасения хотя бы движимого имущества. Переговоры велись через нас, и сделки между императорским домом и Ватиканом, которые никогда не станут достоянием гласности, были известны лишь нам двоим. Контора наша была совершенно незаметна, у нас не было даже вывески на двери, мы нарочито держались вдали от монархических кругов, и это ограждало нас от навязчивых расспросов. Австрийские власти и не подозревали, что в течение всех этих лет тайные курьеры императорской семьи доставляли в нашу скромную контору на четвертом этаже чрезвычайной важности письма и увозили ответы на них.

Известно, что еще задолго до того, как нацисты двинули свои армии против всего света, они начали создавать во всех соседних с Германией странах столь же хорошо вышколенные и не менее опасные военизированные легионы из людей обойденных, отверженных и обиженных. В каждой конторе, на каждом предприятии существовали их так называемые ячейки, у них были шпионы и соглядатаи повсюду, включая личные резиденции Дольфуса и Шушнига. Имелся их агент и в нашей невзрачной конторе, о чем я, увы, узнал слишком поздно. Это был жалкий и бездарный чинуша, которого я взял по рекомендации одного священника, чтобы придать нашей конторе вид настоящего делового учреждения. Давали мы ему только самые невинные поручения: он отвечал на телефонные звонки и подшивал бумаги – разумеется, бумаги, не имевшие сколько-нибудь серьезного значения. Ему не разрешалось вскрывать корреспонденцию. Самые важные письма печатал я сам и только в одном экземпляре. Все основные документы я держал у себя дома, а тайные переговоры вел только в монастырской обители или во врачебном кабинете своего дяди. Благодаря этим мерам предосторожности шпион, приставленный к нам, не мог узнать ничего существенного. Но, по-видимому, несчастная случайность открыла глаза этому тщеславному человечку, и он понял, что мы ему не доверяем, что за его спиной творятся интересные вещи. Возможно, в мое отсутствие один из курьеров по небрежности сказал «его величество» вместо условного «барон Берн». Не исключено также, что негодяй вскрывал тайком письма. Как бы то ни было, еще до того, как я начал подозревать что-нибудь, он уже получил приказ из Мюнхена или Берлина вести за нами слежку. Уже гораздо позже, после своего ареста, я вспомнил, как он, поначалу ленивый и бездеятельный, стал проявлять вдруг в последние месяцы необычайное рвение: он все время настойчиво предлагал мне отправлять мои письма. Признаюсь, я допустил известную неосторожность, но разве не сумел Гитлер обойти и перехитрить крупнейших дипломатов и генералов нашего времени?

Гестапо следило за мной неотступно, – это наглядно подтверждает тот факт, что эсэсовцы арестовали меня вечером в тот самый день, когда отрекся Шушниг, и за день до того, как Гитлер вошел в Вену. К счастью, услышав по радио прощальную речь Шушнига, я успел сжечь все наиболее важные документы, а другие, включая расписки на ценные бумаги, находившиеся за границей и принадлежавшие монастырям и двум эрцгерцогам, спрятал в корзину с грязным бельем, которую моя верная экономка отнесла в дом дяди. Все это было сделано буквально в последнюю минуту, когда гитлеровцы уже ломались ко мне в дом.

Доктор Б. прервал свой рассказ, чтобы зажечь сигару. Вспыхнула спичка, и я увидел, что правый уголок рта у доктора нервно подергивается. Я уже раньше заметил это мимолетное, еле уловимое подергивание, оно повторялось каждые две-три минуты и придавало его лицу чрезвычайно беспокойное выражение.

– Вы, наверно, ждете, что я расскажу о концентрационном лагере, в который были брошены все приверженцы старой Австрии и которые подвергались там мучениям, пыткам и унижениям. Ничего подобного со мной не случилось. Я был отнесен к особой категории. Меня не поместили с теми несчастными, на которых гитлеровцы всеми способами – терзая их душу и тело – вымещали накопившуюся злобу; я был включен в небольшую группу людей, из которых нацисты рассчитывали выжать деньги или важные сведения. Моя скромная персона сама по себе, конечно, не представляла для гестапо никакого интереса, но они догадывались, что мы с отцом были подставными лицами, опекунами имущества и доверенными их злейших врагов. Они хотели заставить меня передать им в руки документы, уличающие монастыри, чтобы выдвинуть против них обвинение в сокрытии капитала; они хотели получить материалы против императорского дома и всех приверженцев монархии. Они подозревали, и не без основания, что значительная часть фондов, которые проходили через наши руки, была хорошо припрятана и недоступна для их посягательств. Потому-то они и арестовали меня в первый же день, они рассчитывали, применив испытанные методы, добиться от меня нужных сведений.

По этой причине люди моей категории, из которых надо было выжать деньги или важные документы, не были сосланы в концентрационные лагеря. Вы, вероятно, помните, что наш канцлер, а также барон Ротшильд, от родственников которого они надеялись получить миллионы, не были брошены в лагерь за колючую проволоку; напротив, им создали особые условия: они были помещены в отдельные комнаты в отеле «Метрополь», где находился штаб гестапо. Той же чести удостоился и я, хотя ничего собой не представлял.

Отдельная комната в отеле – звучит необычайно гуманно, не правда ли? Но поверьте, они вовсе не собирались создавать нам человеческие условия. Вместо того чтобы загнать нас, «видных людей», в ледяные бараки по двадцать человек в комнатушке, они предоставили нам сравнительно теплые номера в отеле, но при этом они руководствовались тонким расчетом. Получить от нас нужные сведения они намеревались, не прибегая к обычным избиениям и истязаниям, а применив более утонченную пытку – пытку полной изоляцией. Они ничего с нами не делали. Они просто поместили нас в вакуум, в пустоту, хорошо зная, что сильнее всего действует на душу человека одиночество. Полностью изолировав нас от внешнего мира, они ожидали, что внутреннее напряжение скорее, чем холод и плети, заставит нас заговорить. На первый взгляд комната, в которую меня поместили, не производила неприятного впечатления: в ней были дверь, стол, кровать, кресло, умывальник, зарешеченное окно. Но дверь была заперта днем и ночью; на столе – ни книг, ни газет, ни карандашей, ни бумаги; перед окном – кирпичная стена; мое «я» и мое тело находилось в пустоте. У меня отобрали все: часы – чтобы я не знал времени; карандаш – чтобы я не мог писать; перочинный нож – чтобы я не мог вскрыть вены; даже невинное утешение – сигареты были отняты у меня. Единственным человеческим существом, которое я мог видеть, был тюремный надзиратель, но ему запрещалось разговаривать со мной и отвечать на мои вопросы. Я не видел человеческих лиц, не слышал человеческих голосов, с утра и до ночи и с ночи до утра я не имел никакой пищи для глаз, для слуха и для остальных моих чувств. Я был наедине с самим собой и с немногими неодушевленными предметами – столом, кроватью, окном, умывальником. Я был один, как

водолаз в батисфере, погруженный в черный океан безмолвия и притом смутно сознающий, что спасительный канат оборван и что его никогда не извлекут из этой безмолвной глубины...

Я ничего не делал, ничего не слышал, ничего не видел. Особенно по ночам. Это была пустота без времени и пространства. Можно было ходить из угла в угол, и за тобой все время следовали твои мысли. Туда и обратно, туда и обратно... Но даже мыслям нужна какая-то точка опоры, иначе они начнут бессмысленно кружиться вокруг самих себя: они тоже не выносят пустоты. С утра и до вечера ты все ждал чего-то, но ничего не случилось. Ты ждал, ждал – и ничего не происходило. И так все ждешь, ждешь, все думаешь, думаешь, думаешь, пока не начинает ломить в висках. Ничего. Ты по-прежнему один. Один. Один...

Так продолжалось две недели. Я жил вне времени, вне жизни. Если б началась война, я б никогда не узнал об этом: мой мир ограничивался столом, дверью, кроватью, умывальником, креслом, окном, стенами. Каждый раз, когда я смотрел на обои, мне казалось, что кто-то повторяет их зигзагообразный рисунок стальным резцом у меня в мозгу.

Наконец начались допросы. Вызывали внезапно – я не знал, днем то было или ночью. Идти приходилось неизвестно куда, через несколько коридоров. Потом нужно было ждать неизвестно где. Наконец вы оказывались перед столом, за которым сидели двое в форме. На столе лежали кипы бумаг – документы, содержания которых вы не знали; потом начинались вопросы; нужные и ненужные, прямые и наводящие, вопросы-ширмы и вопросы-ловушки. Пока вы отвечали на них, чужие недобрые пальцы перелистывали бумаги, и вы не знали, что в них было написано, и чужая недобрая рука записывала ваши показания, и вы не знали, что, собственно, она записывает. Но самым страшным в этих допросах было для меня то, что я не знал и не мог узнать, что именно уже известно гестапо об операциях, производившихся в моей конторе, и что они еще только стараются выпытать у меня. Я уже говорил вам, что в последнюю минуту вручил своей экономке для передачи дяде самые важные документы. Получил ли он эти документы? Что именно знал мой служащий? Какие письма он перехватил? Что могли они выведать у какого-нибудь туповатого священника в одном из монастырей, делами которых мы занимались?

А они все спрашивали и спрашивали. Какие ценные бумаги покупал я для такого-то монастыря? С какими банками имел деловые сношения? Знал ли я такого-то или нет? Переписывался ли я со Швейцарией и еще бог знает с каким местом? Я не мог предвидеть, до чего они уже докопались, и каждый мой ответ был чреват для меня грозной опасностью. Признавшись в чем-нибудь, чего они еще не знали, я мог без нужды подвести кого-нибудь под удар; продолжая все отрицать, я вредил себе.

Но допросы были еще не самым худшим. Хуже всего было возвращаться после допроса в пустоту – в ту же комнату, с тем же столом, с той же кроватью, тем же умывальником, теми же обоями. Оставшись один, я сразу начинал перебирать в памяти все, что происходило на допросе, размышлять, как бы я мог поумнее ответить, прикидывать, что я скажу в следующий раз, чтобы рассеять подозрение, вызванное моим необдуманном замечанием.

Я все это перебирал в уме, проверял, взвешивал каждое слово, сказанное следователю, восстанавливал в памяти его вопросы и свои ответы. Я старался разобраться, какая же часть моих показаний заносится в протокол, хотя прекрасно сознавал, что рассчитать и установить все это просто невозможно. Как только я оставался один в пустоте, мысли начинали безостановочно вертеться в моей голове, рождая все новые предположения, отравляя даже сон. Каждый раз вслед за допросом в гестапо за работу безжалостно принимались мои собственные мысли; они вновь воспроизводили муки и терзания допроса; и это было, пожалуй, еще более ужасно, потому что у следователя все по крайней мере кончалось через некоторое время, а повторение только что пережитого в моем сознании, скованном коварным одиночеством, не имело конца. Со мной по-прежнему были стол, умывальник, кровать, обои, окно. Внимание не отвлекалось ничем, не было ни книги, ни журнала, ни нового лица, ни карандаша, которым можно было бы что-то записать, ни спички, чтобы повертеть в пальцах, ничего, совсем ничего.

Тут только я полностью осознал, с какой дьявольской изобретательностью, с каким убийственным знанием человеческой психологии была продумана эта система тюремной одиночки в отеле. В концентрационном лагере, наверно, пришлось бы возить на тачке камни, стирая руки до кровавых мозолей, пока не закоченеют ноги, жить в вонючей и холодной каморке с двумя десятками таких же несчастных. Но ведь там вокруг были бы человеческие лица, пространство, тачка, деревья, звезды, там было бы на чем остановить взгляд... Здесь же вокруг никогда ничего не менялось, все оставалось до умопомрачения неизменным. Ничего не менялось в моих мыслях, в моих навязчивых идеях и болезненных расчетах. Этого они и добивались: они хотели, чтобы мысли душили меня, душили до тех пор, пока я не начну задыхаться. Тогда у меня не будет иного выхода, как сдаться и наконец признать, признать все, что им было нужно, и выдать людей и документы.

Постепенно я стал чувствовать, что под страшным давлением пустоты нервы мои начинают сдавать. Понимая, как это опасно, я изо всех сил напрягал волю и, чтобы окончательно не потерять контроль над собой, старался хоть чем-нибудь заняться. Я декламировал стихи, пытался восстановить в памяти все, что когда-то знал наизусть, – народные песни, стишки детских лет, Гомера, которого мы учили в гимназии, параграфы Гражданского уложения. Потом я стал решать арифметические задачки, складывал и делил в уме всевозможные числа, но в пустоте моему сознанию не за что было уцепиться. Я уже не мог ни на чем сосредоточиться. В мозгу возникала одна и та же мысль и стремительно начинала работать. Что они знают? Что я сказал вчера, что я должен сказать в следующий раз!

Это состояние, передать которое невозможно, длилось четыре месяца. Четыре месяца – это легко написать, всего двенадцать букв; легко и сказать – всего несколько слогов; губы вымолвят в четверть секунды эти звуки: четыре месяца! Но кто сможет охватить и измерить, как бесконечно долго тянулось это время вне времени и пространства? Этого не расскажешь, и не опишешь, и никому не объяснишь, как губит и разрушает человека одиночество, когда вокруг одна пустота, пустота и все тот же стол, и кровать, и умывальник, и обои, и молчание, и все тот же слугитель, который, не поднимая глаз, просовывает в дверь еду, все те же мысли, которые по ночам преследуют тебя до тех пор, пока не начинаешь терять рассудок.

По некоторым мелким признакам я с ужасом понял, что мозг мой перестает действовать нормально. Вначале я приходил на допросы с совершенно ясной головой. Я давал показания спокойно и осторожно и отчетливо сознавал, что я должен говорить и чего не должен. Теперь же все, что я мог, – это, запинаясь, связывать простейшие фразы, потому что глаза мои неотступно следили за пером, которое летело по бумаге, записывая показания, и мне самому хотелось нестись вдогонку за моими собственными словами. Я чувствовал, что перестаю владеть собой. Я понимал, что приближается момент, когда для своего спасения я расскажу все, что знаю, а может быть, и больше. Для того чтобы вырваться из этой удушающей пустоты, я предам двенадцать человек, выдам их тайны, выдам без всякой выгоды для себя, получив, может быть, только короткую передышку.

Однажды дошло до того, что, когда тюремный надзиратель принес мне еду, меня охватил такой приступ отчаяния, что я вдруг закричал ему вслед:

– Отведите меня к следователю! Я хочу во всем признаться! Я скажу им, где находятся бумаги и деньги! Я все скажу им! Все! Но, к счастью, он уже не слышал меня или не хотел слышать.

И вот в этот момент крайней безнадежности случилось нечто непредвиденное. Произошло событие, которое обещало избавление, пускай временное, но все же избавление. Был конец июля, день был темный, зловещий, дождливый. Все эти подробности я отчетливо помню, потому что в окна коридора, через который меня вели на допрос, барабанил дождь. Мне пришлось дожидаться в прихожей перед кабинетом следователя. Перед допросом всегда заставляли подолгу ждать, это входило в их систему. Сперва взвинчивали нервы внезапным вызовом среди ночи, потом, когда вы брали себя в руки и подготавливались к испытанию, когда ваша воля и ум были напряжены и готовы к сопротивлению, вас заставляли ждать, стоять перед закрытой дверью час, два, три часа. Эта бессмысленная пауза была рассчитана на то, чтобы

утомить вас физически и сломить морально, В тот четверг, 27 июля – есть особые причины, почему я так хорошо запомнил это число, – они продержали меня особенно долго; часы пробили дважды, а я все ждал, стоя в прихожей. Само собой разумеется, мне никогда не разрешали садиться, и за два часа ноги мои совершенно одеревенели. В комнате, где я ждал, висел календарь. Мне трудно объяснить вам, до чего мне хотелось увидеть что-то напечатанное, что-то написанное, поэтому-то я как зачарованный уставился на эти цифры и буквы: «27 июля». Я просто пожирал их глазами. Потом я снова ждал и еще ждал, глядя на дверь, соображая: когда же она наконец отворится? Я прикидывал в уме, какие вопросы зададут мне на этот раз мои инквизиторы, но прекрасно понимал, что спросят они что-то совершенно противоположное тому, к чему я подготовился, И все-таки, несмотря ни на что, я благословлял и эту мучительную неизвестность, и физическую усталость: ведь я находился в другой, не своей комнате! Эта комната была чуть больше моей, с двумя окнами вместо одного, без кровати, без умывальника и без миллион раз виденной трещины на подоконнике. Дверь была окрашена в другой цвет, у стены стояло другое кресло, а налево шкафчик для бумаг и вешалка, на которой висели три или четыре мокрые шинели, шинели моих мучителей. Передо мной было что-то новое – свежее зрелище для истосковавшихся глаз, и я жадно впитывал все подробности. Я рассматривал каждую складку на шинелях; я заметил, например, что на одном из мокрых воротников повисла капля, и – вам это, наверное, покажется смешным – я с бессмысленным волнением ждал, оторвется ли в конце концов эта капля и скатится вниз или сумеет преодолеть земное притяжение и удержится на месте. Честное слово, в течение нескольких минут я, затаив дыхание, наблюдал за этой каплей, словно от нее зависела моя жизнь. Когда капля наконец скатилась, я принялся пересчитывать пуговицы на шинелях, – на одной было восемь, на другой – столько же, на третьей – десять. Потом я сравнивал знаки отличия. Даже не стану пытаться рассказать вам, как развлекали меня эти идиотские, ненужные мелочи, как они дразнили и насыщали мои изголодавшиеся глаза. И вдруг совершенно неожиданно я увидел нечто такое, что окончательно заворожило мой взгляд. Я заметил, что боковой карман одной из шинелей слегка оттопыривается. Я придвинулся ближе. По прямоугольным очертаниям того, что лежало в кармане, я догадался, что это книга. Колени мои задрожали. **Книга!** Вот уже четыре месяца, как я не держал в руках книги, так что самая мысль о том, что слова могут складываться в строчки, а строчки – составлять страницы, печатные листы и, наконец, книгу – книгу, в которой можно найти и запомнить новые, неизвестные мне доселе, интересные мысли, – все это одновременно возбуждало и одурманивало меня.

Я, как загипнотизированный, глядел на оттопыренный карман, в котором лежала книга, глядел с такой страстью, будто хотел прожечь своим взглядом дыру в шинели. И наконец я уже не мог совладать со своим нетерпением. Руки мои дрожали при мысли о том, что я могу дотронуться до книги, хотя бы через материю шинели. Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я придвинулся еще ближе.

К счастью, надзиратель не обращал внимания на мое не совсем обычное поведение; по всей вероятности, он находил естественным, что человеку, простоявшему на ногах два часа, хочется опереться о стену. И вот я уже стоял совсем близко от шинели. Чтобы иметь возможность незаметно дотронуться до нее, я заложил руки за спину. Я потрогал карман и убедился, что внутри действительно было что-то прямоугольное, гнущееся, мягко похрустывающее, – книга, книга! И вдруг меня ужалила мысль: «Укради эту книгу. Если тебе удастся это сделать, ты сможешь спрятать ее в своей камере и читать, читать, читать, наконец-то снова читать!» Едва эта мысль возникла у меня в голове, как яд ее начал молниеносно действовать. У меня зазвенело в ушах, заколотилось сердце, похолодевшие пальцы отказались повиноваться. Но когда первоначальное оцепенение миновало, я незаметно прижался к шинели и, ни на мгновение не сводя глаз с надзирателя, принялся спрятанными за спину руками вытаскивать книгу из кармана. Выше, выше, еще выше, потом рывок – я осторожно и легко потянул, и в руках у меня очутилась небольшая книжонка.

Только тут я испугался того, что наделал. Отступать было нельзя. Что мне оставалось делать? Я засунул книгу сзади под брюки так, чтобы ее придерживал пояс, потом постепенно передвинул на бедро. Теперь я мог удержать книгу на месте, прижав по-военному руки по швам. Нужно было попробовать. Я шагнул от вешалки, два шага, три шага. Прекрасно! Если только я буду крепко прижимать пояс, книгу можно не выронить и унести с собой.

Потом начался допрос. Он потребовал от меня большего напряжения, чем обычно: отвечая на вопросы, я не думал над своими ответами, сосредоточив все усилия на том, чтобы не дать выскользнуть книге. К счастью, допрос на этот раз продолжался недолго, и мне удалось благополучно доставить книгу в свою комнату. Не буду утомлять вас подробностями; скажу только, что на обратном пути в коридоре был очень опасный момент: книга выскользнула из-под пояса в брюки, и мне пришлось симулировать бурный припадок кашля, чтобы согнуться в три погибели и снова затолкать ее под пояс. Но каково же было мое счастье, когда я принес ее в свою преисподнюю и наконец остался один, но я уже больше не был один.

Вы, наверное, думаете, что первым моим побуждением было схватить книгу, просмотреть ее, начать читать? Ничего подобного. Прежде всего я принялся смаковать радость обладания ею; мне хотелось долго-долго щекотать свои нервы, размышляя, что за книга украдена мною, хотелось, чтобы она была с очень мелким, убористым шрифтом, чтобы в ней было много-премного букв и много-премного тоненьких страничек, чтобы я мог читать ее как можно дольше. Мне хотелось, чтобы чтение этой книги требовало от меня умственного напряжения, – мне не надо было ничего легкого, пошлого. Хорошо, если бы из нее можно было выучить что-нибудь наизусть, скажем, стихи. Хорошо, если бы это оказался – дерзкая мечта! – Гомер или Гете. Наконец я больше не мог совладать со своим жадным любопытством. Растянувшись на кровати, чтобы не вызвать подозрений у надзирателя – на случай, если бы он неожиданно открыл дверь, – я вытащил из-за пояса книгу.

Первый взгляд, брошенный на нее, не просто разочаровал меня; я ужасно рассердился: моя добыча, похищая которую, я подвергнулся такой чудовищной опасности и которая породила такие пылкие надежды, оказалась всего лишь пособием по шахматной игре, сборником ста пятидесяти шахматных партий, сыгранных крупнейшими мастерами. Если бы я не был окружен со всех сторон стенами и решетками, я бы выбросил книгу в припадке ярости в окно. Какая польза, ну какая польза была мне от подобной ерунды? Как большинство гимназистов, я изредка для препровождения времени играл в шахматы. Но для чего нужна была мне эта теоретическая абракадабра?

В шахматы нельзя играть в одиночку, тем более без фигур и без доски. Я перелистывал в раздражении книгу, думая найти хоть что-либо для чтения – какое-нибудь введение или пояснение, – но не нашел ничего, кроме ровных квадратных таблиц, воспроизводящих партии мастеров с их непонятными для меня обозначениями; «a2–a3», «Kf1–g3» и так далее. Все это было для меня чем-то вроде алгебраических формул, к которым я не имел ключа. Только постепенно догадался я, что буквы «a», «b», «c» обозначали вертикальные ряды, а цифры «1»–«8» – горизонтальные и что они указывали на положение в данный момент каждой отдельной фигуры. Значит, эти чисто графические диаграммы все-таки что-то говорили.

«Кто знает, – думал я, – если мне удастся смастерить подобие шахматной доски, может быть, я смогу разыграть эти партии». Клетчатая простыня показалась мне даром божьим. Я сложил ее определенным образом, и у меня оказалось поле, расчерченное на шестьдесят четыре квадрата. Я вырвал из книжки первый лист и спрятал ее под матрац. Потом принялся лепить из хлебного мякиша короля, ферзя и остальные фигуры (результаты, конечно, были смехотворны) и наконец, преодолев несчетные трудности, смог воспроизвести на простыне одну из позиций, приведенных в книге. Но когда я попытался разыграть всю партию, выяснилось, что несчастные фигурки, половину которых в отличие от «белых» я замазал пылью, совершенно не годились для моей цели. В первые дни вместо игры получалась сплошная неразбериха, я начинал партию снова и снова – пять, десять, двадцать раз. Но у кого еще было столько

лишнего свободного времени, как у меня, пленника окружавшей меня пустоты? У кого еще могло быть такое упорное желание добиться своего и такое терпение?

Мне потребовалось шесть дней, чтобы без ошибки довести до конца одну партию. Через восемь дней я только один раз использовал простыню, чтобы закрепить в памяти расстановку шахматных фигур, а еще через восемь дней она не нужна была. Абстрактные понятия «a1», «a2», «c3», «c8» автоматически принимали в моем воображении четкие пластические образы. Переход этот совершился без всякого затруднения; силой своего воображения я мог воспроизвести в уме шахматную доску и фигуры и благодаря строгой определенности правил сразу же мысленно схватывал любую комбинацию. Так опытный музыкант, едва взглянув на ноты, слышит партию каждого инструмента в отдельности и все голоса вместе.

Еще через две недели я без всякого труда мог сыграть любую партию из книги по памяти или, говоря языком шахматистов, вслепую. И только тогда я полностью осознал, какой замечательный дар принесла мне моя дерзкая кража. Ведь у меня появилось занятие, пускай бессмысленное и бесцельное, но все же занятие, заполнявшее окружающую пустоту. Сто пятьдесят партий, разыгранных мастерами, явились оружием, при помощи которого я мог бороться против угнетающего однообразия времени и пространства.

С тех пор, стремясь сохранить очарование новизны, я начал точно делить свой день: две партии утром, две партии после обеда и краткий разбор партий вечером. Так мой день, до этого бесформенный, как студень, оказался заполненным. Мое новое занятие не утомляло меня; замечательная особенность шахмат состоит в том, что ум, строго ограничив поле своей деятельности, не устает даже при очень сильном напряжении, напротив, его энергия обостряется, он становится более живым и гибким.

Сначала я разыгрывал партии механически, но постепенно, снова и снова повторяя мастерски разыгранные комбинации и атаки, я начал находить в этом эстетическое удовольствие. Я научился различать тонкости, уловки, хитрости нападения и защиты, уразумел, как можно предвидеть развитие игры за несколько ходов вперед, как намечается и осуществляется атака и контратака, и скоро мог распознавать индивидуальную манеру игры каждого чемпиона, распознать так же безошибочно, как по нескольким строчкам стихотворения можно назвать поэта.

И то, что вначале служило только средством коротать время, стало наслаждением, и непревзойденные стратеги шахматного искусства – Алехин, Ласкер, Боголюбов, Тартаковер, – как дорогие друзья, разделяли со мной одиночество заключения.

Да, теперь уже я не был одинок в своей безмолвной камере. Регулярные занятия шахматами способствовали тому, что мои начавшие было сдавать умственные способности начали восстанавливаться. Освеженный мозг снова работал, как прежде, и даже стал еще более гибким и острым. Прежде всего восстановленная способность ясно и логично мыслить сказалась на допросах. За шахматной доской я бессознательно выработал в себе умение защищаться против ложных угроз и замаскированных выпадов, и с тех пор следователи уже не могли захватить меня врасплох. Мне даже казалось, что гестаповцы начали относиться ко мне с известным уважением. Их, возможно, удивляло, из какого неведомого источника черпаю я силы для дальнейшего сопротивления, когда уже столько людей было сломлено у них на глазах.

Счастлирое время, когда я систематически, день за днем, разыгрывал эти сто пятьдесят партий, длилось два с половиной – три месяца. А потом я неожиданно опять очутился на мертвой точке. Передо мной снова была пустота. К этому моменту я уже по двадцать-тридцать раз проштудировал каждую партию. Прелесть новизны была утрачена, комбинации больше не озадачивали меня, не заражали энергией. Было бесцельно повторять без конца партии, в которых я давно уже знал наизусть каждый ход. Стоило мне начать, и вся игра разворачивалась передо мной, как на ладони, в ней не было ничего неожиданного, напряженного, неразгаданного. Вот если бы достать новую книгу, с новыми партиями, и опять заставить работать свой мозг! Но это было невозможно, и у меня оставался только один выход: вместо

старых, хорошо знакомых партий самому изобретать новые. Я должен был попытаться играть сам с собой, или, вернее, против себя.

Не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как действует на интеллект человека эта замечательнейшая из игр. Достаточно, однако, немного поразмыслить, чтобы стало ясно, что в шахматах, как чисто мыслительной игре, где исключена случайность, игра против себя самого является абсурдной. Главная прелесть шахмат и заключается, по существу, прежде всего в том, что стратегия игры развивается одновременно в умах двух разных людей, причем каждый из них избирает свой собственный путь. В этой битве умов черные, не зная, какой маневр предпримут сейчас белые, стараются его разгадать и помешать им, тогда как белые, со своей стороны, делают все, чтобы догадаться о тайных намерениях черных и дать им отпор. Если бы один и тот же человек пожелал одновременно быть и черными, и белыми, создалось бы бессмысленное положение, при котором один и тот же мозг в одно и то же время знает что-то и не знает; делая ход в качестве белых, он должен был бы как по команде забыть о том, какой хитрый план задумал перед этим, будучи черными. Подобное раздвоение потребовало бы, помимо расщепления сознания и его попеременного включения и выключения, как в каком-то автоматически действующем аппарате; короче говоря, играть против самого себя столь же парадоксально, как пытаться перепрыгнуть через собственную тень. И тем не менее я в течение долгих месяцев отчаянно пытался совершить невозможное, абсурдное. У меня не было выбора, иначе я рисковал окончательно потерять рассудок и впасть в полный душевный маразм. В своем отчаянном положении, чтобы не быть окончательно раздавленным страшной пустотой, которая вновь смыкалась вокруг меня, я вынужден был хотя бы попробовать добиться этого раздвоения между черным и белым «я».

Доктор Б. откинулся в шезлонге и на минуту закрыл глаза. Казалось, он силился рассеять ожившие воспоминания. Уголок его рта снова непроизвольно дернулся. Потом он опять выпрямился.

– Так вот, мне думается, что пока все должно быть вам понятно. Но, к сожалению, не уверен, что так же ясно будет для вас и то, что произошло в дальнейшем. Дело в том, что это новое занятие потребовало такого всеобъемлющего напряжения ума, что какой бы то ни было контроль над остальной его деятельностью стал совершенно невозможен. По моему мнению, игра в шахматы с самим собой – бессмыслица, но все же какая-то минимальная возможность для такой игры существовала бы, если бы передо мной была шахматная доска, потому что доска, будучи осязаемой вещью, вызывала бы чувство пространства, создавая некую материальную границу между «противниками». Играя за настоящей шахматной доской настоящими шахматными фигурами, можно установить определенное время для обдумывания каждого хода, можно сесть сначала с одной стороны и представить себе, как выглядит вся позиция для черных, а потом – как она представляется белым. Но так как игру против себя, или, если угодно, с самим собой, я должен был вести на воображаемой доске, то мне приходилось непрерывно удерживать в уме положение всех фигур на шестидесяти четырех квадратах, и притом не только положение в сию минуту, но и рассчитывать наперед все возможные ходы обоих противников. Я прекрасно понимаю, что все это звучит как совершеннейшее безумие; для каждого из своих «я» мне приходилось представлять себе каждую позицию дважды, трижды, да нет, больше – шесть раз, двенадцать раз, да еще на четыре или пять ходов вперед. Простите, пожалуйста, что я заставляю вас разбираться во всей этой безумной путанице. Разыгрывая в абстрактном пространстве эти фантастические партии, я должен был рассчитывать несколько ходов вперед за белых и столько же ходов за черных, должен был взвешивать все возникающие комбинации то с точки зрения черных, то с точки зрения белых, иначе говоря, сочетать в одном своем уме и ум черных, и ум белых. Но самая серьезная опасность этого жуткого эксперимента заключалась не в раздвоении моего «я». Она заключалась в том, что я должен был самостоятельно разыгрывать мною же придуманные партии и то и дело терять всякую почву и словно падал в какую-то пропасть. Пока я разыгрывал партии чемпионов, все было хорошо: я просто повторял имевшую место игру, воспроизводил

уже данное. Это требовало не больше напряжения, чем, скажем, запоминание стихов или статей какого-либо закона. То было систематическое, дисциплинирующее занятней потому прекрасное упражнение для мозга. Две партии до и две после обеда представляли собой определенное задание, которое я исполнял совершенно спокойно; оно как бы заменяло мне прежние повседневные занятия. И, кроме того, если в процессе игры я ошибался или забывал следующий ход, я всегда мог заглянуть в книгу. Именно потому, что изучение чужих партий никак не затрагивало моего «я», оно так благотворно и успокаивающе действовало на мои расшатанные нервы. Мне было совершенно все равно, кто выиграет, черные или белые, потому что за пальму первенства сражались Алехин или Боголюбов, тогда как я сам, мой разум, мое сознание только смаковали тонкости поединка. Но как только я начал играть против себя, я бессознательно стал соперничать сам с собой. Мои «я» – белое и черное – должны были состязаться друг с другом, и каждое из этих «я» было одновременно охвачено нетерпеливым и честолюбивым желанием выиграть, одержать победу. Сделав ход в качестве черного «я», я лихорадочно ждал, что сделает мое белое «я». Оба «я» попеременно торжествовали, когда другое «я» делало неправильный ход, и раздражались, когда сами допускали подобную оплошность.

Все это выглядит совершенно дико, и, конечно, эта искусственно созданная шизофрения, это намеренное раздвоение сознания со всеми его опасными последствиями были бы немыслимы у человека, находящегося в нормальной обстановке. Не забудьте, однако, что из нормальных условий я был грубо вырван, без всякой вины брошен за решетку, многие месяцы подвергался утонченной пытке – пытке одиночеством. Накопившаяся во мне ярость должна была рано или поздно на что-то излиться. Но так как моим единственным занятием была эта бессмысленная игра против себя самого, то мой гнев, моя жажда мести фанатически изливалась именно в эту игру. Я хотел мстить, но для этого у меня было только мое второе «я», с которым я должен был вести непрестанную борьбу. Вот почему во время игры меня охватывало бешеное возбуждение. Первое время я еще мог проводить эти игры спокойно и рассудительно, делал перерывы между партиями, чтобы отдохнуть. Но мало-помалу мои больные нервы перестали выносить эти передышки. Стоило только белому «я» сделать ход, как черное «я» уже лихорадочно передвигало фигуру, и, как только заканчивалась одна партия, я тут же требовал от себя следующей, вернее, каждый раз, как одно мое шахматное «я» терпело поражение, оно немедленно требовало у другого «я» реванша.

Я даже приблизительно не могу сказать, сколько партий против себя самого я сыграл, охваченный этой ненасытной жадностью, за долгие месяцы своего заключения, – может быть, тысячу, а может быть, и больше. То было наваждение, против которого я не мог бороться. С рассвета и до ночи я не думал ни о чем другом, кроме как о конях и пешках, ладьях и королях. В мозгу у меня непрерывно вертелись «а», «Ь» и «с», мат и рокировка, и все мое существо, все мои помыслы рвались к расчерченной на квадраты доске. Удовольствие от игры превратилось в страсть, страсть превратилась в бешенство, манию; она заполняла не только часы бодрствования, но потом уже и время сна, Я мог думать только о шахматах, о шахматных ходах, шахматных задачах. Иногда я просыпался в холодном поту и чувствовал, что игра бессознательно продолжается и во сне. Даже если я видел во сне людей, они передвигались, как конь или ладья, наступали и отступали, подобно шахматным фигурам.

На допросах я уже забывал, что отвечаю за свои слова и поступки. Наверное, я выражался сбивчиво и туманно: следователи как-то странно переглядывались между собой. На самом же деле, пока они задавали мне вопросы и размышляли над моими ответами, я просто с нетерпением ждал, чтобы меня отвели назад в мою камеру, где я смог бы снова заняться своим безумным делом: начать новую игру, еще одну и еще одну. Перерывы в игре все больше раздражали меня. Даже те пятнадцать минут, пока надзиратель прибирал мою камеру, те две минуты, пока он передавал мне еду, меня терзало лихорадочное нетерпение. Иногда завтрак оставался нетронутым до вечера, потому что, увлекшись игрой, я забывал о нем. Единственное физическое чувство, которое я испытывал, была страшная жажда. Я в два глотка осушал

бутылку воды и умолял надзирателя принести мне еще, но через минуту во рту у меня совершенно пересыхало.

Мало-помалу я стал приходиться во время игры в такое возбужденное состояние – к тому времени я уже с утра до ночи не думал ни о чем другом, – что больше не мог ни на минуту оставаться спокойным. Обдумывая ход, я непрерывно ходил по камере – туда и обратно, туда и обратно, все быстрее и быстрее, вперед и назад, вперед и назад. И чем больше приближалась развязка, тем быстрее метался я из угла в угол. Жажда победы, победы над самим собой, доводила меня до иступления, потому что одно из моих шахматных «я» всегда отставало от другого. Одно «я» подхлестывало другое, и – я понимаю, что вам это должно казаться идиотством, – когда одно из моих «я» недостаточно быстро реагировало на ход, сделанный другим «я», то я злобно выкрикивал «скорее, скорее!» или «дальше, дальше!». Разумеется, сейчас я полностью отдаю себе отчет в том, что мое тогдашнее состояние было не чем иным, как психическим заболеванием, для которого я не могу подыскать другого названия, кроме неизвестного еще в медицине термина «отравление шахматами».

Пришло время, когда эта мономания, это наваждение стало оказывать разрушительное действие не только на мой мозг, но и на мое тело. Я сильно исхудал, сон мой стал тревожен; проснувшись, я с трудом подымал отяжелевшие веки. Я чувствовал себя, как после перепоя, и руки у меня так дрожали, что я не мог поднести ко рту стакан. Но как только начиналась игра, меня охватывала бешеная энергия. Я носился по комнате, сжав кулаки, и время от времени сквозь красноватый туман ко мне доносился мой собственный голос, злобно, хрипло вопивший «шах» или «мат».

Не знаю, когда разрешилось кризисом это ужасное, неопишное состояние. Знаю только, что однажды утром я проснулся, и пробуждение мое было совсем необычно. Я больше не ощущал тяжести во всем теле. Мне было легко и покойно. Благотворная усталость, какой я не испытывал уже много месяцев, лежала на веках, и мне было так уютно и приятно, что я просто не мог заставить себя открыть глаза. Некоторое время я лежал и наслаждался чувством истомы, приятным оцепенением.

Внезапно мне показалось, что я слышу рядом живые человеческие голоса, слова, сказанные тихо и осторожно. Вы не можете себе представить мой восторг! Ведь прошло уже много месяцев, может быть, год, как я не слышал ничего, кроме резких, жестких, злых слов моих мучителей.

«Ты спишь, – сказал я себе, – ты спишь. Ни за что не открывай глаз, пусть этот сон длится как можно дольше, не то ты опять увидишь ту же проклятую камеру, с тем же стулом, умывальником, столом, обои с тем же неизменным рисунком. Ты спишь, продолжай спать».

Но любопытство одержало верх. Медленно, осторожно приоткрыл я глаза. Свершилось чудо! Я был в другой комнате, более просторной, чем моя камера в отеле; на окне не было решетки, в него свободно вливался свет, за окном вместо кирпичной стены виднелись деревья, зеленые деревья, и ветер играл их ветками, стены в комнате были белые и блестящие, и потолок белый и высокий. Я лежал в новой, непривычной постели, и – нет, это был не сон – возле меня слышался тот же шепот.

Пораженный, сам того не желая, я сделал резкое движение и сразу же услышал, как кто-то направился к моей кровати. Легкой походкой ко мне подошла женщина в белой наколке – сиделка, сестра. Я не мог прийти в себя от счастья. Целый год я не видел женщины. Не отрываясь, смотрел я на это дивное видение, и, наверно, в моем взгляде было такое безумное волнение, что она остановила меня: «Спокойно, лежите спокойно».

Я слушал только ее голос: неужели со мной разговаривал человек? Неужели на земле еще есть люди, которые не собираются меня допрашивать и мучить? И потом – непостижимое чудо! – то был голос женщины, мягкий, сердечный, я бы сказал, даже нежный. Я, не отрываясь, жадно смотрел на ее губы – после года в аду мне казалось невероятным, что один человек может ласково говорить с другим. Она улыбнулась мне, да, она улыбнулась! Значит, на свете еще есть, люди, которые могут приветливо улыбаться. Потом она приложила палец к губам и бесшумно

отошла. Но повиноваться ей я не мог. Я еще не насытился созерцанием чуда. Я хотел сесть и проводить глазами это дивное, ласковое создание. Но когда я хотел облокотиться о спинку кровати, я не смог этого сделать. Вместо правой руки я увидел что-то постороннее – большой, тяжелый белый предмет. Должно быть, вся рука у меня была забинтована. С удивлением взирая на этот предмет, я начал мучительно соображать: где я и что со мной стряслось? Ранили меня каким-то образом они, или я сам повредил себе руку? Я понял, что лежу в больнице. В полдень пришел врач, приятный пожилой человек. Он знал мою семью и, видимо, желая дать почувствовать свое расположение, уважительно отозвался о моем дяде – лейб-медике. Он задал мне несколько вопросов, один из них особенно удивил меня: кто я – математик или химик? «Ни то, ни другое», – ответил я.

«Странно, – пробормотал он, – в бреду вы все время выкрикивали какие-то неизвестные формулы „с3“, „с4“. Мы ничего не могли понять».

Я спросил его, что случилось со мной. Он загадочно усмехнулся.

«Ничего серьезного. Острое расстройство нервной системы. – Оглянувшись по сторонам, он негромко добавил: – Это вполне понятно. Вы ведь... с тринадцатого марта?..»

Я кивнул.

«Ничего удивительного при их методах. Не вы первый. Но не беспокойтесь».

Его доброжелательный тон и сочувственная улыбка убедили меня, что я в безопасности.

Через два дня доктор сам рассказал мне, что произошло. Тюремный надзиратель услышал в моей камере крики и подумал, что я, должно быть, спорю с кем-то проникшим ко мне; но едва он показался на пороге, я бросился к нему с кулаками и заорал: «Делай ход, негодяй, трус!»

Потом я схватил его за горло и с такой яростью стал душить, что ему пришлось звать на помощь. Я продолжал бушевать и, когда меня тащили на медицинское освидетельствование, в коридоре вырвался и пытался выброситься в окно, разбил стекло и сильно порезал руку – вот тут еще остался глубокий шрам. В первые дни, когда я попал в госпиталь, у меня было что-то вроде воспаления мозга, но сейчас, по мнению врачей, мой рассудок и центры восприятия в полном порядке. «Скажу прямо, – тихо добавил он, – я не довожу об этом до сведения власть имущих, не то они могут явиться и забрать вас обратно. Положитесь на меня, я сделаю все от меня зависящее».

Что сказал моим преследователям добрый доктор, я так и не знаю. Во всяком случае, он добился своего: меня освободили. Может быть, он заявил, что я не отвечаю за свои поступки. Возможно и другое: гестапо могло потерять ко мне интерес, поскольку к тому времени Гитлер занял уже всю Богемию и тем самым с Австрией было покончено. Мне пришлось только подписать обязательство в течение двух недель покинуть страну. Все это время ушло на выполнение формальностей, так усложняющих в наши дни выезд за границу: надо было получить разрешение военных властей и полиции, уплатить налоги, выправить свидетельство о здоровье, паспорт, визу и прочее, так что размышлять о пережитом мне было некогда.

По-видимому, какие-то таинственные силы регулируют деятельность человеческого мозга и автоматически выключают опасные для его психики воспоминания. Как бы то ни было, стоило мне вспомнить о моем заточении, как в сознании наступало затмение, и только много недель спустя, собственно говоря, только сейчас, на пароходе, я нашел в себе мужество осознать то, что пережил.

Теперь вам должно быть понятно мое странное, не совсем обычное поведение тогда, во время игры ваших друзей. Я случайно проходил через курительный салон и вдруг увидел у шахматного стола ваших друзей. От удивления и испуга я просто остолбенел. Ведь я начисто забыл, что можно играть в шахматы за настоящей доской и настоящими фигурами, забыл, что в этой игре участвуют два совершенно разных человека, что они друг против друга. По правде говоря, прошло несколько минут, прежде чем я сообразил, что эти люди играют в ту самую игру, в которую я сам столько времени играл, не в силах вырваться на волю. Значит, шифр, при помощи которого я вел свои игры на память, был не чем иным, как эрзацем, символом вот этих увесистых фигур. Я был поражен, увидев, что фигуры на доске и их передвижение полностью

соответствуют тем выработанным мною представлениям, которые жили в моем воображении. Так, наверное, бывает поражен астроном, когда, теоретически доказав, путем сложных математических вычислений, существование новой планеты, он вдруг видит ее воочию, на небе, видит ясно, во всей ее реальности. Я смотрел на доску как зачарованный и видел там мою диаграмму – конь, тура, король, королева, пешки – все реальные, вырезанные из дерева фигуры; чтобы понять позицию, мне невольно пришлось сначала перенестись из моего абстрактно-математического шахматного поля к доске, на которой передвигались фигуры. Понемногу меня охватило любопытство, мне захотелось проследить настоящую игру двух партнеров. И вот это-то и послужило причиной моего крайне прискорбного, бестактного вмешательства в вашу игру. Неверный ход вашего друга был для меня как удар в сердце. Я остановил его инстинктивно, как останавливают ребенка, перегнувшегося через перила. Я только потом осознал всю грубую неуместность своего вмешательства.

Я поспешил заверить доктора Б., что все мы были очень рады случившемуся, тем более что благодаря этому инциденту познакомились с ним. Я добавил, что после всего услышанного мне будет вдвойне интересно присутствовать на завтрашнем импровизированном турнире.

Доктор Б. сделал беспокойное движение.

– Право, вы не должны ожидать слишком многого. Это будет просто испытанием для меня, могу ли я... могу ли я играть в шахматы нормально, сидя за шахматной доской, против настоящего, живого противника, передвигая настоящие фигуры. Потому что я начинаю все больше и больше сомневаться, играл ли я эти сотни или даже тысячи партий по правилам. А может быть, они просто плод моего больного воображения? Не был ли то просто бред, шахматная лихорадка, когда человек, как во сне, непрерывно движется вперед скачками? Ведь не думаете же вы серьезно, что я могу померяться силами с чемпионом мира, сыграть с ним, как равный с равным? На эту игру меня толкает только любопытство. Мне хочется выяснить задним числом, что же действительно происходило со мной в заключении: был ли я близок к безумию или уже перешагнул эту опасную грань. Вот и все, ничего больше.

В этот момент прозвучал гонг, сзывавший пассажиров к обеду. Беседа наша продолжалась почти два часа: доктор Б. рассказывал мне свою историю гораздо более подробно, чем я изложил ее. Я сердечно поблагодарил его и распрощался, но не успел еще пройти палубу, как он догнал меня. Он был явно взволнован и говорил, слегка заикаясь:

– Еще одно. Я не хочу быть невежливым по отношению к вашим друзьям, поэтому, пожалуйста, предупредите их заранее, что я сыграю только одну партию. Главное для меня – это раз и навсегда разрешить для себя этот вопрос, так сказать, подвести окончательный итог. Я вовсе не собираюсь начинать все снова. Я не могу позволить себе вторично заболеть этой шахматной горячкой, которую я и теперь вспоминаю с содроганием. Кроме того... кроме того, меня предупреждал врач, он настойчиво предупреждал меня. Для человека, который был подвержен мании, навсегда остается опасность рецидива, поэтому мне, страдавшему «отравлением шахматами», даже если меня считают совершенно излечившимся, надо держаться от шахматной доски подальше. Так что вы понимаете: только одна пробная игра и ни одной больше.

На следующий день точно в назначенное время, в три часа, мы собрались в курительном салоне. Наш кружок пополнился еще двумя любителями королевской игры – это были офицеры, которые специально попросили капитана перенести им часы вахты, чтобы иметь возможность посмотреть игру. Чентович на сей раз тоже не заставил себя ждать, и после жеребьевки началась необычная игра: «*Номо obscurissimus*»³ против прославленного чемпиона мира по шахматам.

Очень жаль, что единственными свидетелями этой партии были такие мало смыслящие в шахматах люди, как мы, и что она безвозвратно утеряна для анналов шахматного искусства, как

³ Неизвестный человек (лат.).

были утеряны для истории музыки фортепьянные импровизации Бетховена. Правда, на другой день мы сообща пытались восстановить ее по памяти, но тщетно. Очевидно, это произошло потому, что в азарте игры наше внимание было сосредоточено не на самой партии, а на игроках, разница в интеллектуальном уровне которых становилась все более зримой по мере того, как развивалась игра.

Опытный Чентович сидел совершенно неподвижно, словно каменное изваяние. Взор его был прикован к доске, умственное напряжение, казалось, стоило ему почти физических усилий. Доктор Б., напротив, держался свободно и непринужденно. Как настоящий дилетант, в лучшем смысле этого слова, как любитель, для которого весь смысл и удовольствие игры заключались в самой игре, он, казалось, отдыхал. В начале игры он разговаривал, весело объяснял нам свои ходы, небрежно закуривал сигарету за сигаретой и, когда наступала его очередь делать ход, бросал быстрый взгляд на доску и передвигал фигуру. Казалось, он каждый раз точно предвидел ход своего противника.

Дебют был разыгран быстро. Определенный план начал намечаться только после седьмого или восьмого хода. Чентович стал дольше обдумывать ходы, из этого мы заключили, что теперь началась настоящая борьба за инициативу.

Но, откровенно говоря, постепенное развитие партии, нередкое в серьезных турнирах, нас, непрофессионалов, пожалуй, даже разочаровало. Чем больше усложнялся рисунок игры, тем все непонятнее становились для нас позиции противников. Нам было не под силу разобрать, кто же получил преимущество. Мы только видели, что отдельные фигуры, пробиваясь вперед, действуют, как тараны, стремясь прорвать фронт противника, но поскольку каждый ход этих выдающихся игроков составлял только часть комбинации, а каждая комбинация – только часть плана, который, в свою очередь, осуществлялся только через несколько ходов, то стратегический замысел, согласно которому игроки двигали свои фигуры то вперед, то назад, был для нас совершенно непонятен.

Потом нами овладела давящая усталость, вызванная главным образом тем, что Чентович бесконечно долго обдумывал каждый свой ход. Это постепенно начало нервировать и нашего друга. С тревогой заметил я, что чем дольше затягивалась игра, тем беспокойнее он становился: двигался на стуле, нервно зажигал сигарету за сигаретой, время от времени хватал карандаш и что-то записывал, заказывал минеральную воду и жадно глотал стакан за стаканом. Было очевидно, что мозг его конструировал комбинации в сто раз быстрее, чем мозг Чентовича. Каждый раз, когда тот после бесконечного раздумья неловко брал фигуру и решался передвинуть ее, наш друг, улыбнувшись, как улыбается человек, давно ожидавший чего-то и наконец дождавшийся, сразу же делал ответный ход. Видимо, он со своим живым, подвижным умом успевал заранее исследовать все возможности, открывшиеся противнику. Чем дольше обдумывал каждый ход Чентович, тем нетерпеливее становился доктор Б., злобно, почти враждебно сжимавший губы. Чентович, однако, не желал торопиться. Он сидел, упорный и молчаливый, размышляя над ходами, и, по мере того как число фигур на доске уменьшалось, увеличивались паузы. К сорок второму ходу, после битых двух часов, все мы сидели в изнеможении, почти равнодушные к тому, что происходило перед нами. Один из офицеров уже ушел, другой читал книгу и бросал взгляд на доску только тогда, когда кто-то из игроков делал ход. Но вдруг после очередного хода Чентовича произошло нечто неожиданное. Доктор Б., заметив, что Чентович, собираясь сделать ход, взялся за коня, сжался, как кошка перед прыжком. Он весь дрожал, и не успел Чентович исполнить свое намерение, как доктор Б. быстро продвинул вперед своего ферзя и громко, торжествуя сказал:

– Так, теперь с этим покончено.

Потом он откинулся в кресле, скрестил руки на груди и вызывающе посмотрел на Чентовича. В глазах его сверкнул огонек.

Мы все невольно склонились над доской, стараясь, сообразить, что означал этот торжествующий возглас, но прямой угрозы королю мы не увидели. Воскликание нашего друга относилось, по-видимому, к развитию игры, которого мы, близорукие дилетанты, понять не

могли. Один только Чентович не шелохнулся. Он оставался совершенно спокоен, как будто не слышал оскорбительного замечания «с этим покончено». Ничего не произошло. Однако все мы затаили дыхание, и сразу же стало слышно тиканье контрольных часов. Прошло три минуты, семь минут, восемь – Чентович продолжал сидеть без движения, и только по тому, как раздувались его широкие ноздри, было видно, какая буря бушевала у него в груди.

Казалось, наш друг, как и мы, с трудом переносил это томительное безмолвное ожидание. Он внезапно встал, оттолкнул стул и принялся ходить из угла в угол, вначале медленно, а затем все ускоряя и ускоряя шаг. Все присутствующие смотрели на него с удивлением, но никто не был так обеспокоен его поведением, как я: несмотря на охватившее его волнение, он ходил по совершенно точно ограниченному пространству, словно бы в своем воображении он каждый раз наталкивался на невидимую стену, заставлявшую его поворачивать назад. С содроганием понял я, что он бессознательно шагает по своей прежней камере. Во время заточения он, наверное, так же метался, как зверь в клетке, взад и вперед, сгорбившись, с судорожно сжатыми кулаками, точь-в-точь как сейчас. Так, именно так, с остановившимся взглядом тысячи раз бегал он из угла в угол там, и в лихорадочно блестящих глазах его сверкали красные огоньки безумия.

Но рассудок его был, по-видимому, еще в полном порядке, потому что время от времени он нетерпеливо поворачивался к столу, чтобы посмотреть, решил ли на какой-нибудь ход Чентович. Время продолжало тянуться – девять минут... десять... Затем произошло то, чего никто из нас не ждал. Чентович медленно поднял тяжелую руку, до этого неподвижно лежавшую на столе. Взволнованные, с натянутыми до предела нервами, ждали мы развязки. Но Чентович не сделал хода. Неторопливо, но решительно он сбросил тыльной стороной ладони с доски все фигуры. Мы не сразу поняли, что Чентович сдался. Он капитулировал, он не желал, чтобы мы стали свидетелями его окончательного поражения. Случилось неожиданное: чемпион мира, победитель бесчисленных турниров, опустил флаг перед незнакомцем, перед человеком, двадцать или двадцать пять лет не касавшимся шахмат. Наш друг, никому не известный, безымянный, в честном бою одержал победу над сильнейшим игроком мира.

Сами того не замечая, все мы в волнении повскакали с мест. У всех было чувство, что мы должны как-то выразить охватившее нас радостное изумление, должны что-то сказать или сделать. Один только человек остался неподвижен и спокоен – это был Чентович. Выждав немного, он поднял голову и, устремив на нашего друга каменный взгляд, спросил:

– Еще одну партию?

– Конечно! – воскликнул доктор Б. с неприятно резанувшим меня оживлением. Затем он сел и, прежде чем я успел напомнить ему о его условии – сыграть только одну партию, начал с лихорадочной поспешностью расставлять фигуры. Он так нервничал, устанавливая их по местам, что пешка дважды выскальзывала из его дрожащих пальцев и падала на пол. Этот прежде спокойный и тихий человек был явно в каком-то экстазе, все чаще подергивался уголок его рта, он весь дрожал, как от озноба.

– Не надо, – прошептал я ему, – не надо! На сегодня достаточно. Для вас это слишком большое напряжение.

– Напряжение? Ха-ха-ха! – громко, презрительно рассмеялся он. – За время, что мы тянули эту волюнку, я мог бы сыграть семнадцать партий. Единственное, что мне трудно, это стараться не заснуть при таких темпах. Ну что же, начнете вы когда-нибудь?

Последние слова, сказанные резким, почти грубым тоном, относились к Чентовичу. Тот посмотрел на противника спокойно и невозмутимо, но его угрюмый, каменный взгляд был как удар кулаком. Меж игроками возникло сразу что-то новое – опасная напряженность, жгучая ненависть. То не были больше игроки, желавшие испытать искусство противника, а враги, поклявшиеся уничтожить друг друга. Чентович долго медлил, прежде чем сделать первый ход, и у меня создалось твердое впечатление, что медлил он умышленно, нарочито.

Без сомнения, этот испытанный в боях стратег уже давно сообразил, что его медлительность утомляет и раздражает противника. Не менее четырех минут понадобилось ему для того, чтобы

сделать самое обычное начало – ход королевской пешкой. Наш друг моментально продвинул королевскую пешку со своей стороны, и снова Чентович невыносимо долго медлил с ответным ходом. Так бывает, когда с бьющимся сердцем ждешь удара грома после ярко полыхнувшей молнии, а грома все нет и нет. Чентович, казалось, совсем окаменел. Он обдумывал ходы спокойно и неторопливо, и во мне все росла уверенность, что он делает это нарочно. Его медлительность позволяла мне неотступно наблюдать за доктором Б. Он только что осушил третий стакан воды, и я невольно вспомнил, как он рассказывал о неутолимой жажде, мучившей его в камере. Налицо были все признаки ненормального состояния: лоб его покрылся испариной, шрам на руке покраснел и стал гораздо заметнее. Но все же он держал себя в руках. Только после четвертого хода, когда Чентович снова погрузился в изнурительное размышление, самообладание покинуло доктора Б., и, вспыхнув, он воскликнул:

– Пойдете ли вы, наконец?

Чентович холодно посмотрел на него.

– Насколько мне помнится, мы условились обдумывать каждый ход не более десяти минут. Я принципиально буду придерживаться этого условия.

Доктор Б. прикусил губу. Заметив, что он со все возрастающим нетерпением постукивает ногой по полу, я уже не мог совладать с охватившей меня тревогой: меня томило предчувствие, что он снова окажется во власти безумия. На восьмом ходу снова произошла стычка. Доктор Б., самообладание которого явно улетучивалось, не мог скрыть своего нервного раздражения. Он ни минуты не сидел спокойно и теперь принялся бессознательно барабанить по столу пальцами. Чентович снова поднял свою тяжелую мужицкую голову.

– Могу я просить вас перестать барабанить по столу? Мне это мешает. Я так не могу играть.

– Ха... – ответил доктор Б. – Оно и видно!

Чентович покраснел.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил он резко.

Доктор Б. снова коротко, презрительно рассмеялся:

– Ничего, кроме того, что, по всей видимости, вы очень волнуетесь.

Чентович промолчал и снова склонился над доской. Только через семь минут сделал он ответный ход. Игра продолжалась все в том же похоронном темпе. Чентович словно превратился в каменного истукана. Теперь, прежде чем передвинуть фигуру, он уже полностью выдерживал установленный максимум, а поведение нашего друга от хода к ходу становилось все более странным. Казалось, он потерял всякий интерес к игре и был занят чем-то посторонним. Он перестал взволнованно расхаживать, сидел неподвижно и, устремив в пространство отсутствующий, почти безумный взгляд, бормотал себе что-то под нос. Либо он был погружен в обдумывание каких-то бесконечных комбинаций, либо – и я подозревал, что именно так, – разыгрывал в уме какие-то совсем другие партии. Как бы то ни было, каждый раз, когда Чентович делал ход, его нужно было возвращать к действительности. И теперь уже ему требовалась одна или две минуты, чтобы снова разобраться в положении.

Во мне росло убеждение, что у доктора Б. начался припадок тихого помешательства, который в любой момент мог перейти в буйный. Он словно забыл и о нас, и о Чентовиче. И действительно, на девятнадцатом ходу разразился кризис. Едва только Чентович сделал ход, как доктор Б., бросив мимолетный взгляд на доску, вдруг продвинул своего офицера на три клетки вперед и громко, так что мы все вздрогнули, закричал:

– Шах, шах королю!

В ожидании чего-то необычного все впились глазами в доску. Но прошла минута, и дело приняло неожиданный оборот. Очень медленно Чентович поднял голову, чего не делал еще ни разу, и обвел нас глазами. Что-то, казалось, доставило ему чрезвычайное удовольствие, губы его мало-помалу растянулись в довольную и высокомерную усмешку. Только до конца насладившись своим триумфом, причина которого была нам непонятна, он с притворной вежливостью обратился к присутствующим:

– Простите, но я не вижу шаха. Может быть, кто-нибудь из вас, господа, подскажет мне, в чем заключается шах моему королю?

Мы посмотрели на доску, а затем с тревогой на доктора Б. Король Чентовича был защищен от офицера пешкой – это заметил бы и ребенок, – так что ни о каком шахе не могло быть и речи. Мы забеспокоились. Может быть, наш друг в волнении продвинул фигуру на квадрат дальше или ближе, чем следовало? Наше молчание привлекло внимание доктора Б., он пристально посмотрел на доску и, запинаясь, сказал:

– Но король ведь должен быть на «f7». Он стоит неправильно, совершенно неправильно. Вы сделали неправильный ход!.. Все фигуры стоят не на своих местах: эта пешка должна быть на «d5», а не на «d4». Это совсем другая партия. Это...

Он внезапно осекся. Я крепко схватил его за руку, вернее, просто ущипнул с такой силой, что даже он в своем безумном смятении почувствовал это. Он обернулся и, как сомнамбула, посмотрел на меня:

– Что... вам угодно?

– Помните! – сказал я только одно слово и легко провел пальцем по шраму на его руке.

Он механически повторил мой жест и стеклянными глазами уставился на кроваво-красную полосу. Вдруг он задрожал всем телом, на лбу выступила испарина.

– Ради бога, – прошептал он бледными губами, – неужели я сказал или сделал какую-нибудь глупость? Неужели возможно, что и опять?..

– Нет, – тихим голосом ответил я, – но вы должны прекратить игру сейчас же. Пора!

Вспомните, что сказал врач.

Доктор Б. резко вскочил со стула.

– Прошу прощения за свою дурацкую ошибку, – сказал он своим вежливым голосом и склонился перед Чентовичем. – Я, конечно, сказал совершеннейшую чепуху. Само собой разумеется, эту партию выиграла вы.

Потом повернулся к нам:

– И вас, господа, я тоже прошу извинить меня. Но я предупреждал заранее, что не нужно возлагать на меня больших надежд. Простите, что я так позорно закончил игру. Это последний раз, что я поддался искушению сыграть в шахматы.

Он поклонился и удалился с тем же скромным и загадочным видом, с каким впервые появился среди нас. Я один знал, почему этот человек никогда больше не прикоснется к шахматам, остальные же в замешательстве стояли вокруг, смутно догадываясь, что нечто темное и грозное пронеслось мимо, едва не задев их.

– Черт бы побрал этого дурака! – разочарованно проворчал МакКоннор.

Последним поднялся со своего стула Чентович и бросил еще один взгляд на неоконченную партию.

– Очень жаль, – великодушно сказал он. – Атака была совсем неплохо задумана. Для любителя этот человек играет на редкость талантливо.